***нобелиана Бориса Пастернака***

**Евгений Пастернак**

**Хроника прошедших лет**

**Опубликовано в журнале:**[**«Знамя» 2008, №12**](http://magazines.russ.ru/znamia/2008/12/)



Пятьдесят лет тому назад Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе. Известно, что это событие обернулось политическим скандалом и повлекло за собой его болезнь и смерть.

Это знают многие, однако долгая предыстория этих событий мало кому известна. Она, как в зеркале, отражает приливы и отливы политического гнета послевоенных лет, надежд на освобождение живого слова из-под власти лжи и насилия.

Все началось на десять лет раньше, чем был написан и издан “Доктор Живаго”, в 1946 году, когда возобновилось присуждение премий, прерванное войной.

То было время светлых надежд на развитие всего лучшего, обусловившего победу объединенных сил мирового сообщества над фашизмом. С этим была связана вера в либерализацию советского режима во всех областях жизни, и в первую очередь ее духовной основы.

“Если Богу угодно будет и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век и еще раньше, до наступленья этого благополучия в частной жизни и обиходе, — поразительное огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство”, — писал Пастернак летом 1944 года.

Неожиданный отклик своим мыслям и надеждам Пастернак нашел в деятельности английской группы персоналистов, издававшей журнал “Transformation”.

Пастернак писал С.Н. Дурылину 29 июня 1945 года о радости обретения идеологической близости с этой группой: в них он увидел “поворот людей издали лицом друг к другу, который их ничем не связывает и не обременяет, но в каких-то высших целях, не исчерпываемых жизнью каждого в отдельности, одухотворяет пространство веяньем единенья, без которого нет бессмертия”.

“За последние два года я, поначалу отрицательными путями, из нападок (здешних) на себя узнал о существовании молодого английского направления непротивленцев (escapistes). Эти люди были на фронте и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище — персоналисты, личностники. <…> Они выпускают альманах Transformation, нечто среднее между “превращеньем”, “перерождением” и “преображением”. Им пишут статьи мыслящие представители англиканской церкви. Они много места уделяют крупнейшим завершителям европейского символизма, Прусту, Рильке, Блоку. <…> Они зачислили меня в свое братство, поместили “Детство Люверс” в 1-м альманахе, и их издательство анонсировало выпуск тома моей прозы, за которым последуют стихи”.

В письме к сестрам, посланном с И. Берлином в конце декабря 1945 года, он признавался, что “общий духовный рисунок” братства персоналистов, “идейное его очертание, те стороны, которыми в нем присутствуют символизм и христианство, — все это удивительно совпадает с тем, что делается со мной, это самое родное мне сейчас, самое нагретое место на холодной стене, отделяющей меня от вас”.

Это признание передает духовное настроение, определяющее идейную направленность будущего романа “Доктор Живаго”, и сопровождается в том же письме характеристикой его поэтики как развития оборванных без продолжения открытий прозы Рильке и Пруста.

“Я хотел бы, — продолжал он, — как это сделали бы они, если бы они были мною, то есть немного реалистичнее, но именно от *этого* общего у нас лица, рассказать главные происшествия, в особенности у нас, в прозе, гораздо более простой и открытой, чем я это делал до сих пор. Я за это принялся…”.

Таково первое упоминание о работе над “Доктором Живаго”.

Изданные в Лондоне сборники Пастернака “Collected Prose Works. Arranged with introduction by Stefan Schimansky” и “Selected Poems. Translated by J.M. Cohen” позволили профессору Оксфордского университета С.М. Баура выдвинуть Пастернака на Нобелевскую премию. В течение последующих пяти лет его кандидатура выдвигалась ежегодно1, и слухи об этом, вероятно, доходили до него.

Это было постоянной опасностью для него в последние сталинские годы. Именно тогда он усиленно работал над “Доктором Живаго”.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси,

— писал он в первом стихотворении Живаго “Гамлет”, в полной мере сознавая опасность такого “порядка действий” и “неотвратимости конца”.

Еще во время войны, чудом спасшийся от фугасной бомбы, упавшей в нескольких шагах от него, и благодаря Бога за Его неизмеримую милость, он писал отцу и сестрам в Оксфорд, сокрушаясь: “Моя работа осталась невыполненной из-за того, что я не мог ничего сказать. Это самое тяжелое в моей постоянной горечи”. Теперь, после войны, он видел свой жизненный долг в том, чтобы рассказать своим современникам о самом главном, что было пережито его поколением. Несколько успешно прошедших вечеров авторского чтения показали ему, “какое великое множество людей и сейчас расположено в пользу всего стоящего и серьезного. Существованье этого неведомого угла у нас дома было для меня открытьем”, — писал он в том же письме Дурылину.

Это неожиданное единомыслие, открывшееся в переписке “с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на Западе, оказалось многочисленнее, прямее и проще, чем я мог предполагать даже в самых смелых мечтаниях, — сообщал Пастернак Н.Я. Мандельштам. — Это небывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, задачи, и также усложнило жизнь внешнюю”.

Благодаря английских персоналистов в лице Стефана Шиманского и поэта Герберта Рида за присланный с дарственной надписью английский сборник прозы, Пастернак извинялся за фрагментарность его вещей, заканчивая словами: “Мне еще предстоит какая-то деятельность, более широкая и простая. Вы увидите. Но об этом рано еще говорить”.

Атмосферу “просветления и освобождения, которых ждали после войны”, резко прервало ждановское постановление “О журналах “Звезда” и ”Ленинград”” от 14 августа 1946 года, — но, как вспоминает Пастернак в заключительных словах “Доктора Живаго”, — “все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание”. Этот дух времени поддерживал его намерение и позволил ему к осени 1946 года написать первые главы романа.

Партийное постановление имело главным объектом критики Ахматову и Зощенко и впрямую не касалось Пастернака, но уже в первых числах сентября А. Фадеев обрушился на него с обвинениями в отрыве от народа. К нему приходили добрые знакомые Владимир Луговской и Корнелий Зелинский с советом выступить в печати с критикой Ахматовой, чтобы отвести от себя удар, но он решительно отказался от этого. Он отвечал, что никоим образом не может этого сделать, что это исключено:

— Анна Андреевна, — мой друг, и она как будто неплохо ко мне относится.

— Но ведь и ваши стихи тоже непонятны народу.

— Да-да! — радостно подтвердил он. — Мне еще об этом ваш Троцкий говорил!

Упоминание этого имени как ветром сдуло литературных наставников.

Обвинением в безыдейности и идеологическом несоответствии образу совет-ского писателя служила поддержка, которую оказывали Пастернаку англичане. Особенное возмущение со стороны литературных сановников вызвала статья Стефана Шиманского “Моральный долг молодого писателя”, где он противопоставлял поведение Пастернака во время войны творчеству Эренбурга и Шолохова, чьи произведения автор приравнивал к политическим фельетонам.

Д. Данин вспоминал, что советовал Пастернаку “отмежеваться”, как это тогда называлось, от статьи Шиманского, но тот отказался, объяснив, что тогда получится, что он согласен со всем, что делается в советской литературе, тогда как он “согласен не со всем, или точнее, — со всем не согласен”.

К этому времени относится записка Пастернака, адресованная в секретариат Союза писателей, написанная, по-видимому, для успокоения Зинаиды Николаевны, которую очень тревожил его “строптивый норов” в эти страшные годы повторных арестов и повальных обвинений в предательстве.

“По сведениям Союза писателей в некоторых литературных кругах Запада придают несвойственное значение моей деятельности, по ее скромности и непроизводительности несообразное. Эта мелочь не заслуживала бы внимания, если бы в наши напряженные дни она не ставила меня в ложное и двусмысленное положение. Надо рассеять это недоразумение.

Напрасно противопоставлять меня действительности, которая во всех отношениях сильнее и выше меня. Вместе со всеми обыкновенными людьми, чувствующими живо и естественно, я связан одинаковостью души и мысли с моим веком и моим отечеством, и был бы слепым ничтожеством, если бы за некоторыми суровостями времени, преходящими и неизбежными, не видел нравственной красоты и величия, к которым шагнула нынешняя Россия и которые предсказаны были ей нашими великими предшественниками”.

Записка не была отослана и сохранилась у Зинаиды Николаевны. “Она даже требует, — записала Л. Чуковская слова Пастернака, — чтобы я что-то кому-то писал. Но я читать их не могу, как же я им буду писать?”

Это было страшное время порабощения и уничтожения поколения, выигравшего войну: аресты и ссылки повторников, борьба с космополитизмом, отмена смертной казни сразу после войны сменилась ее повторным введением. Неприкрытые проявления ненависти и обнаженная жестокость были страшнее, чем в 30-е годы.

“Трагический тяжелый период войны был *живым* периодом и в этом отношении вольным и радостным возвращением чувства общности со всеми. Но когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после щедрости исторической стихии повернули опять к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 г.) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз”, — записал Пастернак в феврале 1956 года.

Весной 1948 года был уничтожен тираж его сборника с несколькими стихами из “Доктора Живаго”, которые вызвали особенное раздражение у Фадеева. В 1949 году широко ходили слухи об аресте Пастернака, из Ленинграда звонили встревоженные этим Ольга Берггольц и Анна Ахматова.

Летом он перепечатал на машинке первую книгу романа и некоторые экземпляры разослал по нескольким адресам людям, мнение которых было ему дорого: Ольге Фрейденберг, Сергею Спасскому, Анне Ахматовой в Ленинград, Ариадне Эфрон в ссылку, и пр. Один из них был с новозеландским дипломатом Пади Кастелло послан в Англию сестрам с просьбой ознакомить с ним С.М. Баура и Ст. Шиманского. Он предупреждал сестер, что это текст не оконченный и его ни в коем случае нельзя публиковать.

Попытки выдвижения Пастернака на премию прекратились, когда стало понятно, какой опасностью это может ему грозить. Слухи о новом появлении его кандидатуры возобновились после смерти Сталина.

Двоюродная сестра Бориса Пастернака, профессор классической литературы Ленинградского университета Ольга Фрейденберг в короткой открытке спрашивала его:

“Дорогой Боря! У нас идет слух, что ты получил Нобелевскую премию. Правда ли это? Иначе — откуда именно такой слух? Мой вопрос, возможно, очень глуп. Но как же его не задать?”

Через несколько дней пришел ответ:

“Такие же слухи ходят и здесь. Я — последний, кого они достигают, я узнаю о них после всех, из третьих рук. “Бедный Боря, — подумаешь ты, — какое нереальное, жалкое существование, если ему некуда обратиться по этому поводу и негде выяснить истину!” Но ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь. И мне надо жить глухо и таинственно.

Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклою, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому, Бог миловал, эта опасность миновала.

Видимо, предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, читали. Так рассказывают. Потом люди слышали по ВВС будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но зная нравы, запросили согласия представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Хотя некоторые говорят, будто спор еще не кончен. Но ведь все это болтовня, хотя и получившая большое распространение.

Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин и, хотя бы по недоразумению, оказаться рядом с Хемингуэем. Я горжусь одним: ни на минуту не изменило это течения часов моей простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни.

Есть ангел-хранитель у меня в жизни. Вот что главное. Слава ему”.

“Боря, родной мой, твое письмо такое беглое, но оно совершенно потрясло меня каким-то эпическим величием твоего духа, — писала ему в ответ Ольга Фрейденберг. — Я рада за тебя. До сих пор я знала о заочном обученьи, теперь узнала, что на свете есть и заочное коронованье. Это лучший для тебя исход. Горечь, конечно, остается. <…> Милый мой, дорогой! Никогда динамит не приводил к таким благим последствиям, как эта кандидатура на трон Аполлона. Что с того, что ты в Переделкине одиноко свершаешь свой невидимый подвиг, — где-то наборщики в передниках за то получают зарплату и кормят свои семьи, что набирают твое имя на всех языках мира. Ты способствуешь изжитию безработицы в Бельгии и в Париже. Машины с шумом вертятся, краска пахнет, листы торопливо фальцуются, — а ты в Переделкине завтракаешь с Зиной и жалуешься на прутья золотой клетки. Это, брат, единство действия и единство времени и при отсутствии единства места. <…> Не видишь ты, сколько смысла в твоем Переделкине и в прутьях, поверх которых где-то за тридевять земель говорят о твоем “я”, никому не видимом. Так ведь и вершатся наши судьбы, а мы их не видим”.

По сведениям постоянного секретаря Ларса Гилленстена, в 1954 году кандидатура Пастернака не выдвигалась, премию присудили Хемингуэю, о чем ко времени переписки с Фрейденберг уже известно было всем по ту сторону железного занавеса.

Мы не знаем, что писали бельгийские, французские и немецкие газеты, на которые ссылается Пастернак, не удалось разыскать и то, что сообщало ВВС. Из документов архива ЦК КПСС известно, что писатель и академик С.Н. Сергеев-Ценский получил предложение Шведской академии выдвинуть кого-либо из советских писателей кандидатом на Нобелевскую премию. После согласования с Союзом писателей и ЦК ему рекомендовали предложить М. Шолохова, поскольку стихи Пастернака недостаточно признаны в СССР. Именно эта формулировка, по сведениям А. Блоха, потом появилась и при следующем обсуждении кандидатуры Пастернака в Нобелевском комитете в 1957 году, было также высказано пожелание, чтобы его выдвижение получило поддержку на родине. Кроме того, такие переговоры позволяли Нобелевскому комитету понять, не скажется ли роковым образом на судьбе кандидата присуждение ему премии. Наши предположения опираются на факт поездки по поручению Шведской академии профессора Эрика Местертона в Москву и Ленинград для выяснения возможности награждения К. Паустовского и А. Ахматовой в 1964 году, — о чем пишет А. Блох. Известно также о том, что летом 1958 года тот же Местертон, будучи в Москве, посетил Пастернака. Он встречался также с главой союза писателей А. Сурковым. Тогда все казалось вполне благополучным. Давление, оказанное на Пастернака перед выходом “Доктора Живаго” по-итальянски, прекратилось, год прошел сравнительно тихо.

Кстати, именно Местертону мы обязаны записью голоса Пастернака, который прочел ему два стихотворения, отрывок о Блоке из автобиографического очерка и высказал свои мысли о величии художника. Он прочел ему надпись, сделанную им музыканту Жерару Фреми, который привез экземпляр “Доктора Живаго” по-французски. В ней он выразил горячее ощущение счастья, вызванного триумфальным шествием романа по миру. Переиначив строчку Верлена “Так музыка же прежде всего…”, он сказал: “Величье, величье прежде всего. …Надо быть великим, надо таким родиться или суметь научиться этому. Учатся этому в течении всей жизни, преисполненной жалости к женщинам и детям и добротой к людям, жизни, отданной другим и ими воспринятой. Надо быть великим, — но о каком величии идет речь? Да о каком угодно, о всяком, которое противостоит ничтожеству, посредственности, бесплодию и словесной истерии в искусстве любого рода, — например, — в романтизме. Надо быть полностью свободным, — по-королевски, — не только от признания своего искусства окружающими, но даже от собственного уже достигнутого совершенства, — свободным от самого себя. Надо сдвигать горы реально, так чтобы все это видели, а не пустыми словами. А сдвинув их, надо идти дальше к новым целям”.

В последующем эта запись была выпущена небольшим диском “Discurio”, ставшим почти единственной передачей голоса и живого разговора Пастернака.

Возвращаясь к письму Пастернака Ольге Фрейденберг, удивляешься, как ясно представлял он себе всю сложность положения, в котором он окажется в случае присуждения ему премии.

После хрущевского доклада на XX съезде произошли большие перемены в общественном настроении. Этот период получил название “оттепели”. Веяние новых возможностей коснулось и Бориса Пастернака, который только что окончил свой роман “Доктор Живаго”. Рукопись, перепечатанная в нескольких закладках, широко давалась читать и была предложена двум ведущим журналам — “Новому миру” и “Знамени”. Появлялась реальная надежда на его публикацию. В Гослитиздате тем временем был подписан с Пастернаком договор на сборник стихотворений. В качестве предисловия ему предложили написать короткий автобиографический очерк, а для последнего раздела — новый стихотворный цикл.

Интерес к тому, что происходит в Москве, оживил связи с заграницей, писательские делегации из Польши и Чехословакии направлялись в Переделкино, переходя с дачи на дачу. Навестивший Пастернака Земовит Федецкий, председатель Союза польских писателей, получил машинописный экземпляр романа для основанного в Польше нового журнала “Opinie”, обсуждалась возможность опубликовать роман по-чешски в издательстве “Свет Советов”.

В мае рукопись “Доктора Живаго” была отдана итальянскому журналисту Серджо Д’Анджело, приехавшему по просьбе издательства Фельтринелли в Переделкино со своим сотрудником по московскому радио В. Владимирским. Если роман будет издан в Москве, то почему бы не ускорить решение вопроса об издании его и в других странах? Пастернак неоднократно повторял, что рукопись была передана открыто. Возникали сомнения относительно реакции советских журналов, которая подозрительно затягивалась, и Пастернак откровенно поделился этим с Д’Анджело, намекнув ему об опасностях, которые ему грозят в случае отказа от публикации на родине. “Я приглашаю вас на собственную казнь”, — сказал он, прощаясь.

В сентябре 1956 года Пастернак переслал роман в Англию, в феврале 1957-го во Францию. Встревоженный этим Отдел культуры ЦК разными путями пробовал остановить издания, определив роман Пастернака как “антисоветский” и предложив “Новому миру” отказаться от его публикации. В качестве основной претензии к автору выдвигалось непонимание роли Октябрьской революции и участия в ней интеллигенции.

Пастернак так оценил письмо “Нового мира”:“Оно составлено очень милостиво и мягко, трудолюбиво продумано с точек зрения, ставших привычными и кажущихся неопровержимыми, и только в некоторых местах, где обсуждаются мои мнения наиболее неприемлемые, содержит легко объяснимую иронию и насмешку. Внутренне, то есть под углом зрения советской литературы и сложившихся ее обыкновений, письмо совершенно справедливо. Мне больно и жаль, что я задал такую работу товарищам”.

Фельтринелли заключил с Пастернаком договор на итальянское издание, и, выпустив его осенью 1957 года, получил всемирный копирайт. За несколько месяцев до его издания в Москве был выработан хитроумный план, согласно которому Пастернака под угрозой ареста заставили подписать составленные в ЦК телеграммы своим заграничным издателям с требованием остановить печатание и вернуть рукопись романа для “серьезного совершенствования”. Но затея не увенчалась успехом. Поехавший для этого в Милан А. Сурков вернулся от Фельтринелли ни с чем.

Сразу после выхода романа в Италии Отдел культуры ЦК решил устроить встречу Пастернака с иностранными журналистами. Несмотря на то что он категорически отказывался выступать в подобном спектакле, встреча состоялась 17 декабря 1957 года на даче Пастернака в Переделкине.

На следующий день газета “Le Monde” сообщала, что группа западных журналистов посетила Пастернака, который сказал:

“Я сожалею, что мой роман не был у нас издан. Но принято считать, что он несколько отходит от официальной линии советской литературы. Моя книга подверглась критике, но ее никто даже не читал. Для этого использовали всего несколько страниц, выдержек, отдельные реплики некоторых персонажей и сделали из этого ошибочные выводы”.

Как полагается, в начале 1957 года были предложены новые кандидаты на получение Нобелевской премии. В их числе — уже в шестой раз — был выдвинут Пастернак. “Доктор Живаго” еще не был издан, о нем мало кто знал. В последнем туре голосования победил Альбер Камю. В своей Нобелевской речи он назвал “великого Пастернака” примером мужества и чести, противопоставив искусство, которое дается легкой ценой, тому, которое в некоторых странах является делом риска и героизма. В начале следующего, 1958 года он выдвинул его на Нобелевскую премию. Его друг, один из переводчиков “Доктора Живаго” на французский язык, Луи Мартинез рассказывал, что живя с Камю в одной маленькой деревне, он знакомил его с романом по мере работы над переводом. Он записал, что разговаривал с Камю 8 февраля, когда перевод был уже закончен. Тогда же обсуждалась возможность выдвинуть Пастернака на Нобелевскую премию. К тому же Камю особенно поощрял друг и сотрудник издателя Гастона Галлимара Брис Парен. Он одним из первых предположил, что присуждение Нобелевской премии будет Пастернаку лучшей защитой, которую Запад может ему предложить.

В начале 1958 года до Москвы дошли слухи об обсуждении кандидатуры Пастернака и были приняты экстренные меры. В марте Швецию посетила делегация Союза писателей и узнала, что в числе выдвигаемых вместе с Пастернаком называются имена Шолохова, Эзры Паунда и Альберто Моравиа. К. Симонов в записке в ЦК высказывал “мнение о целесообразности освещения в нашей печати деятельности М. Шолохова и его популярности в Скандинавских странах, считая, что это может оказать желательное влияние на решение вопроса о Нобелевской премии по литературе”. Аналогичным образом секретарь правления Союза писателей Г.М. Марков, только что вернувшийся из Швеции, сообщал, “что среди высших кругов <Шведской> Академии существует определенное мнение в пользу Пастернака”, чему нужно было бы противопоставить публикацию материалов “о международной популярности Шолохова, о его широкой известности в Скандинавских странах”. Идеологическая комиссия ЦК телеграммой от 7 апреля извещала советского посла в Швеции, что “в Советском Союзе высоко оценили бы присуждение Нобелевской премии Шолохову” и что “Пастернак, как литератор, не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности”.

Пастернак весьма скептически относился к тем слухам, которые доходили до него. В ответ на предложение американского издателя Курта Вольфа встретиться с ним в конце года в Стокгольме, Пастернак 12 мая 1958 года писал: “То, что Вы пишете о Стокгольме, никогда не случится, потому что наше правительство никогда не даст согласия на то, чтобы меня наградили”. То же самое он повторял 30 июля французской переводчице Элен Пельтье: “Что касается Н<обелевской> премии, то я уверен в несбыточности этой опасности, потому что обычно действия комитета включают запрос к правительству, в подданстве которого находится обсуждаемая личность и о кандидатуре которой спрашивают согласия. А в моем случае этого никогда не будет”.

Пастернак ошибался, считая, что необходимо мнение правительства о выдвигаемой кандидатуре, но был прав, полагая, что для этого полезна поддержка или даже презентация со стороны общественности страны проживания. Именно отсутствие этого пункта останавливало в его случае в прошлом окончательное решение Нобелевского комитета.

Тем временем у Пастернака шла переписка с Западом — обмен письмами с Жаклин де Пруайяр, П.П. Сувчинским и его друзьями, французскими поэтами Рене Шаром и Андре дю Буше, которые хотели издать сборник стихов Пастернака по-французски, считая, что это нужно для того, чтобы он мог в будущем году получить Нобелевскую премию. Посредником в этой инициативе был также Брис Парен, который, однако, отсоветовал Жаклин де Пруайяр поручить им перевод стихов Пастернака. “Из этого выйдет “дю Буше под соусом Шара, а не Пастернак””, — утверждал он.

В свою очередь поверенная Пастернака в заграничных делах Жаклин де Пруайяр переписывалась с сотрудником издательства Мутона в Гааге о выпуске русского издания “Доктора Живаго”. Сохранилось письмо Фельтринелли от 4 марта 1958 года Анри Геллеру с согласием на это издание. Через десять дней он это подтвердил в письме к Жаклин де Пруайяр. Но свое окончательное разрешение он всячески оттягивал, боясь потерять мировое авторское право. Неожиданно для всех “Доктор Живаго” по-русски был отпечатан в конце июля 1958 года у Мутона без обозначения копирайта. Фельтринелли, узнав об этом, прилетел в Гаагу, потребовал остановить печать и вклеить титульный лист с его именем — “Г. Фельтринелли. Милан”. Тираж был отпечатан 24 августа по невычитанному тексту и со множеством опечаток.

Разноречивые известия об этом и о возбужденном Фельтринелли судебном процессе против Мутона попали в газеты “France Soir”, 26 сентября 1958; “Le Figaro”, 1 ноября; “Combat”, 8 ноября.

Издательству пришлось уплатить большой штраф и 14 февраля 1959 года опубликовать во всех известных газетах объявление: “Мы, изд. Mouton & Co. Publisher, Inc., 5, Herderstraat, The Hague, Holland, заявляем, что лишь благодаря досадному недоразумению мы участвовали по доброй воле в печатании тиражом около 1160 экз. на русском языке книги “Доктор Живаго” русского автора Бориса Пастернака. Это издание вышло в Гааге летом 1958 года, и при этом мы доводим до сведения, что итальянский издатель Фельтринелли в Милане не давал авторизации этой публикации, а также обозначения своего имени на фронтисписе этой книги, и утверждаем, что мы никогда не были намерены посягать на какие-либо права Giangiacomo Feltrinelli Editore, имеющего адрес 6, via Andegari, Milan, Italy, на “Доктора Живаго” Бориса Пастернака, который впервые в мире был издан в Милане, в ноябре 1957 года как следствие законного издательского договора, соответственно защищенного в соответствии с the International Copyrigts Agreement”.

Книга не поступала в продажу. Какое-то количество экземпляров было роздано посетителям Всемирной выставки в Брюсселе. По слухам, советские представители (в их числе были А. Сурков и Г. Марков), вывезли с выставки некоторое количество книг, которые потом выдавались “для ознакомления” членам ЦК во время политического скандала, вспыхнувшего в связи с присуждением Пастернаку Нобелевской премии. Мы видели одну из них с оторванной обложкой и штампом “для служебного пользования”.

Известная своими “разоблачениями” газета “Der Spiegel” в дни травли Пастернака объясняла выбор Шведской академии результатом международного заговора, участниками которого были Ватикан, американский комитет “Свободная Европа” и русская эмиграция, подчеркивая при этом организационную роль самого Пастернака. Доказательство заговора газета видела в распространении в ватиканском павильоне Всемирной выставки в Брюсселе русского издания “Доктора Живаго”, напечатанного по инициативе “таинственного незнакомца”, который появился в типографии Мутона с фотокопией русского текста. Сообщалось также о демонстрации писем Пастернака, оспаривающих у Фельтринелли права на русское издание, и подлинной рукописи “Доктора Живаго” с авторской правкой. В этой статье Пастернак обвиняется в том, что он договорился с приезжавшим в Переделкино “на правах друга семьи” Владимиром Толстым, “племянником Л.Н. Толстого”, о выпуске авторизированного издания романа, чтобы подготовить почву для Нобелевской премии.

Откровенная лживость “сведений” по поводу мнимого участия Пастернака в “организации” русского издания романа, его писем к Фельтринелли о праве издания и встречи с фальшивым “племянником” великого писателя Владимиром Толстым выясняется из его письма к В.Д. Пришвиной, где он просит узнать о Толстом у ее друга “толстоведа” Н.С. Родионова: “Знает ли он, что один из издателей Д<октора> Ж<иваго> в оригинале гр. Владимир Толстой, один из внуков Л.Н. Какой он? Не сын ли Ильи Львовича? Но, видимо, нет — по фотографии он моложе такой возможности”.

В статье, которую видел Пастернак, Владимир Толстой назван не племянником, а внуком, и была дана фотография человека, которого он никогда не видел. Известие о русском издании романа Пастернак получил из писем друзей и делился своей радостью с Жаклин де Пруайяр.

“Прошел слух, — писал он ей 17 сентября 1958 года, — что роман вышел в оригинале, продается и читается. Как это произошло? Правда ли это? Тогда даже приглашая вас на мое грядущее четвертование, я не могу найти слов, чтобы высказать вам мою благодарность и радость”.

Через два дня он спрашивал об этой неожиданности сестер: “Правда ли, что вышло и оригинальное издание? Ходят слухи, будто бы его продают на выставке в Брюсселе?”.

В письме к Фельтринелли 10 октября 1958 года Жаклин де Пруайяр выражала свои сожаления по поводу скандального издания “Доктора Живаго” у Мутона, к которому не имела отношения, и предлагала его узаконить, отпечатав большой тираж по уже сделанному набору.

Теперь, через полвека после этих событий, сотрудник радио “Свобода” Иван Дмитриевич Толстой вытащил вновь наружу сомнительную политическую подоплеку присуждения Пастернаку Нобелевской премии, приписывая эту заслугу американской разведке (CIA). На эту тему было сделано им несколько докладов, публикаций и выступлений по радио, — и это несмотря на то, что на свой запрос в Шведскую академию он получил отрицательный ответ.

С разрешения господина Г. Энгдала, к которому обратился Толстой, мы получили копию этой переписки.

“Меня интересует один вопрос, — пишет И. Толстой. — Некоторые считают, что по условиям Нобелевского комитета “Доктор Живаго” Пастернака должен быть опубликован на оригинальном языке, то есть русском. Никакие переводы не могут быть принимаемы в расчет. Такого мнения придерживается Жаклин де Пруайяр. Это звучит странно, но не могу ли я просить Вас разъяснить мне этот факт. Было ли в действительности такое требование?”

В феврале 2008 года вопрос Толстого был поставлен на обсуждение очередной сессии Академии. Поддерживаемый другими членами, историк Нобелевской премии по литературе профессор К. Эспмарк выразил общее мнение:

“Предположение, что Шведская академия в 1958 году выразила нежелание дать Пастернаку премию, пока не будет напечатан оригинальный текст “Доктора Живаго”, было встречено общим недоверием. Господин Эспмарк утверждает, что он никогда не видел никакого документа, который бы содержал такое утверждение, и невозможно представить подобное условие присуждения премии, поскольку это бы нарушало правила секретности, окружающие процесс утверждения лауреата. Поскольку пока никаких доказательств не появилось на свет, заявление, будто публикация Живаго по-русски открыла дорогу для премии, должно быть вычеркнуто. По всей вероятности, Пастернак получил бы премию в любом случае. Возможно, что его западные друзья думали иначе. Американская разведка вряд ли знала что-либо об обсуждениях Шведской академии. Не надо переоценивать ее влияние”.

Слухи о выдвижении кандидатуры Пастернака дошли до Москвы в сентябре 1958 года. Борис Полевой писал в ЦК докладную записку, желая “получить указание”, как следует относиться к этому и какие меры предпринимать. Чтобы избежать скандала, Союз писателей предложил срочно издать “Доктора Живаго” маленьким тиражом с оповещением в печати, чтобы лишить возможности западную прессу поднять шум по поводу запрещенного в СССР произведения, но инструкторы Отдела культуры нашли такое предложение “нецелесообразным”. М.А. Сусловым и Д.А. Поликарповым была разработана подробная, “строго секретная” программа действий в случае присуждения премии Пастернаку.

Такая возможность волновала и самого Пастернака, но с совсем другой стороны. Подобно тому, как он писал в 1954 году Ольге Фрейденберг в надежде, что это событие минует его, так и теперь он опасался того переворота, который нарушит его размеренную и плодотворную деятельность. “Давайте надеяться, будем надеяться, что премия будет присуждена А. Моравия, а не мне, — писал он 10 октября своему американскому издателю Курту Вольфу. — Ведь было бы смешно и глупо, не правда ли, неслыханно и в высшей степени противоречиво сопротивляться этой возможности и ей противостоять? Однако сама мысль о получении премии столь проблематична и для меня такое испытание! И совсем не с пол<итической> точки зрения. Но мои жизненные обстоятельства так сложны и запутаны. Только благодаря моему бездействию люди рядом со мной живут мирно. Необходимость ездить, что-то делать и утверждать мучительно изменила бы все в доме и в непосредственной близости со мной. А я не могу вынести пересекающихся взаимных страданий родных и близких. У меня от этого разрывается сердце”.

“Я всегда думал, что Борис Пастернак должен получить Нобелевскую премию и получит ее… — писал ему Курт Вольф, узнав о присуждении. — И то, что все-таки это осуществилось, — прекрасно, и надеюсь, что все-таки это доставило Вам какую-то радость”. В предвкушении будущих торжеств Вольф заканчивал письмо словами: “Я заказал себе номер в Гранд Отеле в Стокгольме на 9 декабря, но приеду туда, только если Вы там будете”.

Об этих же беспокойствах Пастернак писал сестрам в те же дни: “Если в этом году мне будет присуждена Н<обелевская> п<ремия> (как иногда доходят слухи), и у меня появится необходимость и можно будет поехать за границу (все это для меня в полной тени), я не вижу возможности и не стану пытаться брать с собою в путешествие О<льгу>, если только я получу разрешение, речь пойдет о возможности лишь моей собственной поездки. Но ввиду сложностей, связанных с Н<обелевской> пр<емией>, надеюсь, что ее присудят другому кандидату, скорее всего А. Моравия”.

Кандидатура Пастернака после короткого заседания Шведской академии получила большинство при голосовании, и 23 октября 1958 года постоянный секретарь Академии известный шведский поэт Андерс Эстерлинг выступил по радио и объявил о присуждении Пастернаку премии по литературе со следующей формулировкой: “За выдающиеся достижения в лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы”. Он добавил, что традиции эпической прозы особенно проявились в последнем произведении Пастернака, в романе “Доктор Живаго”, который Эстерлинг сравнивал с “Войной и миром” Толстого, и особо подчеркнул, что премия присуждена не только за роман, но что ознакомление с ним сыграло в выборе академиков решающую роль. Он отметил также, что создание в трудных условиях такого произведения, преодолевающего по своему уровню политические границы и аполитичного по духу, само по себе является подвигом.

В половине третьего того же дня Пастернаку была послана телеграмма с приглашением приехать 10 декабря в Стокгольм для получения премии. К 5 часам Шведское агентство печати узнало, что в Переделкино, где жил Пастернак, телеграмма еще не приходила. Представитель Комитета по культурным связям с заграницей уведомил журналистов, что Пастернак болен и никого не принимает. Министр культуры Н. Михайлов заявил, что “удивлен выбором. Я знаю, что Пастернак настоящий поэт и замечательный переводчик, но почему он получил премию сейчас, спустя столько лет после публикации своих лучших стихов”. Что касается премии, то на следующий день правление Союза писателей решит, — добавил он, — можно ли Пастернаку ее принять и выехать за ее получением в Стокгольм.

Пастернак поблагодарил Шведскую академию телеграммой:

“Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен”.

Московское радио 25 октября сообщило о Нобелевской премии Пастернака со следующими комментариями: “Присуждение Нобелевской премии за единственное среднего качества произведение, каким является “Доктор Живаго”, политический акт, направленный против советского государства”. По указанию министра иностранных дел А. Громыко в ответ на полученную посольством СССР в Стокгольме поздравительную телеграмму Эстерлинга было послано письмо:

“Посольство получило Вашу телеграмму, в которой сообщается о решении присудить Нобелевскую премию в области литературы писателю Б. Пастернаку. Вызывает удивление тот факт, что Академия наук Швеции сочла возможным присудить премию именно этому, а не какому-либо другому писателю. Из Вашего выступления по радио 23 октября не трудно видеть, что поводом для присуждения премии Пастернаку послужила написанная им книга “Доктор Живаго”. Говоря об этой книге, Вы и те, кто вынесли решение, обращали внимание явно не на ее литературные достоинства, и это понятно, так как таких достоинств в книге нет, а на определенную политическую сторону дела, поскольку в книге Пастернака советская действительность охаивается и представляется в извращенном виде, возводится клевета на социалистическую революцию, на социализм и советский народ. Взвесив все эти обстоятельства, нельзя не прийти к выводу, что те, кто вынесли решение о присуждении премии Пастернаку, руководствовались недружелюбными чувствами по отношению к Советскому Союзу и встали на тот путь, который объективно способствует раздуванию “холодной войны” и обостряет напряженность в отношениях между государствами”.

Почти все пункты намеченной в ЦК М. Сусловым программы “мер в связи с присуждением Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии” были выполнены послушными исполнителями. Вот только сорвалось участие Всеволода Иванова, многолетнего друга Пастернака, который должен был использовать свое “влияние” и внушить ему, чтобы он отказался от премии. Но Иванов, услышав поздно вечером 23 октября о присуждении Пастернаку премии, радостно кинулся поздравлять его: “Ты лучший поэт эпохи и действительно по полному праву заслужил любую премию мира”. На следующий день, когда он получил повестку на президиум правления Союза писателей, который должен был рассматривать “действия” Пастернака, то потерял сознание и всю неделю пролежал в постели.

Пастернак тоже не так сыграл предназначенную ему в этой программе ЦК роль. Вместо решительного отказа от премии, который предполагался по плану Суслова, он в день ее присуждения послал в Стокгольм благодарственную телеграмму, а через неделю, когда его все-таки вынудили отказаться от нее, сделал это слишком поздно, не так, как ему предписывалось, и тем сорвал весь эффект.

Напротив, Константин Федин полностью оправдал высокое доверие и выполнил возложенную на него задачу. Записка Поликарпова М.А. Суслову фиксирует его разговор с Пастернаком, состоявшийся 24 октября 1958 года. Придя к нему на дачу, Федин потребовал немедленного, демонстративного отказа от премии, угрожая завтрашней травлей в газетах. Тот ответил на это, что ничто не заставит его плевать в лицо оказавшим ему высокую честь, к тому же он уже послал благодарственную телеграмму Шведской академии и не хочет выглядеть неблагодарным обманщиком. Федину также не удалось уговорить его пойти вместе к нему на дачу, где их ждал Поликарпов. “Поликарпов уехал взбешенный”, — рассказывал Федин в тот день Корнею Чуковскому.

В докладной записке Поликарпов деликатно описал свою неудачу: “Поначалу Пастернак держался воинственно, категорически сказал, что не будет делать заявления об отказе от премии и могут с ним делать все, что захотят”. Федин был вынужден уйти ни с чем, хотя некоторую надежду питал еще на “здравый смысл” их общего друга и соседа Всеволода Иванова, к которому послал Пастернака посоветоваться.

Тамара Владимировна Иванова, перед тем известившая Федина (у того на даче не было телефона), что к нему выезжает Поликарпов, вспоминала, что его беседа с Пастернаком длилась не более пяти минут. После ухода Федина к ним сразу вбежал запыхавшийся Пастернак, испуганный не столько “ультиматумом”, сколько тем, что Федин “приходил впервые к нему не как друг, а как официальное лицо”. Ему было дано два часа на размышления, но после слов Всеволода, чтобы он поступал, как хочет, и никого не слушал, — он быстро ушел домой.

В тот день были именины Зинаиды Николаевны Пастернак, которая готовилась к приему гостей. В дом постоянно приходили иностранные журналисты и фотокорреспонденты, приносили многочисленные поздравительные телеграммы из-за границы. В интервью “New York Times” Пастернак сказал: “Присуждение премии я принял с радостью, это принесло мне нравственную поддержку. Но моя радость сегодня — одинокая радость”.

Первым свои поздравления прислал Союз польских писателей. Стихи и фотография Пастернака появились с краткой заметкой о его награждении и о нем самом в газете “Trybuna Robotnicza”. “Это большая радость для меня, — печатала “Le Figaro” слова Пастернака. — Я очень взволнован, но жалею, что моя радость останется одинокой”. “Я рад, что до поездки в Стокгольм еще полтора месяца, это время нужно как раз, чтобы спокойно вздохнуть еще немного”, — говорил он журналистам. Он выражал удивление, что его роман наделал столько шума.

Кроме появления Федина, праздник был омрачен также полученной вскоре повесткой из Союза писателей с вызовом на завтрашнее экстренное заседание. К. Чуковский, пришедший поздравить Пастернака, заметил, как потемнело при этом его лицо, он схватился за сердце и с трудом поднялся к себе в кабинет. Он посоветовал написать письмо Е.А. Фурцевой, но концовка письма Пастернака, по его мнению, могла только испортить дело. Оно не было отправлено по назначению. Пастернак писал:

“Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. Мне кажется, что честь оказана не только мне, а литературе, к которой я принадлежу, советской литературе. Кое-что для нее, положа руку на сердце, я сделал.

Как ни велики мои размолвки с временем, я не предполагал, что в такую минуту их будут решать топором. Что же, если Вам кажется это справедливым, я готов все перенести и принять. Но мне не хотелось бы, чтобы эту готовность представляли себе вызовом и дерзостью. Наоборот, это долг смирения.

Я верю в присутствие высших сил на земле и в жизни, и быть заносчивым и самонадеянным запрещает мне небо. *Борис Пастернак*”.

Теперь широко известны фотографии, сделанные в тот день фотожурналистом А.В. Лихоталем у Пастернака в столовой, на которых изображены Чуковский и его внучка Люша, у Корнея Ивановича, никогда не пившего вина, в руке бокал. Через несколько лет, даря эту фотографию Александру Галичу, Чуковский объяснял, почему Пастернак на ней так смеется. “Он смеется, потому что я ему, который всю жизнь ходил в каком-то странном парусиновом костюме, я ему рассказывал о том, что ему теперь придется шить фрак, потому что Нобелевскую премию надо получать во фраке, когда представляешься королю”.

В 1988 году в “Огоньке” были опубликованы факсимиле нескольких стадий стилистической работы секретаря правления Союза писателей Г.М. Маркова над текстом двух повесток, посланных Пастернаку 24 и 27 октября: от чернового автографа и машинки с правкой до двух окончательных редакций с приписками рукою адресата, извинявшегося, что не может присутствовать: “Мне стало сейчас, в 18 ч. 20 мин. плохо, я не знаю, смогу ли я приехать. Пусть товарищи не сочтут это неуважением. 24 ноября 1958. Б.П”.

Запись сделана сбивчивым и слабым почерком, ошибка в названии месяца тоже говорит сама за себя. На другой повестке с извещением о заседании 27 октября “по известному вам вопросу” Пастернак писал: “Мне правда нехорошо, при малейшей возможности я приеду. Б. Пастернак”.

Вечером того дня, когда в Москве стало известно, что отцу присудили Нобелевскую премию, мы радовались, что все неприятности позади, что получение премии означает поездку в Стокгольм и выступление с речью. Как это было бы красиво и содержательно сказано! Победа казалась нам такой полной и прекрасной. Но вышедшими на следующее же утро газетами наши мечты были посрамлены и растоптаны. Было стыдно и гадко на душе. Мы поехали в Переделкино, он был радостен и светел, не читая газет и ничего не боясь. Его интересовало только, не отразится ли на мне эта кампания.

Первым официальным откликом на присуждение премии была редакционная статья в “Литературной газете” под названием “Провокационная вылазка международной реакции” и публикация письма “Нового мира” 1956 года с обоснованием отказа печатать роман “Доктор Живаго”. Отзыв сопровождался заявлением новой редколлегии, возглавляемой Твардовским, которое рассматривало присуждение Нобелевской премии Пастернаку как “политическую акцию, враждебную по отношению к нашей стране и направленную на разжигание холодной войны”. На следующий день вышла газета “Правда” с издевательской статьей Д. Заславского “Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка”, где Пастернак назывался “озлобленным обывателем”, а его роман “политическим пасквилем”.

Утром 27 октября Пастернак все-таки собрался и приехал в город с намерением пойти на заседание в Союзе писателей. По воспоминаниям Ивинской, она и находившийся у нее в этот момент Вяч.Вс. Иванов отговорили его, увидев, в каком состоянии он находился. Ею уже были сделаны первые заготовки для обращения Пастернака в президиум правления с использованием начальных слов письма к Фурцевой. Отказавшись от помощи, Пастернак сам карандашом быстро написал объяснительную записку из восьми пунктов, которую Иванов отвез в Союз писателей. Заседание тянулось чуть не целый день. Председательствовал старый друг Пастернака Николай Тихонов, доклад делал Г.М. Марков, в президиуме сидел Поликарпов. Присутствовавшие в большинстве своем не читали романа, но свое мнение об “антипатриотическом” поступке Пастернака они высказывали достаточно резко. Материалом для обвинений были недавние газетные статьи, случайные воспоминания о разных поступках Пастернака и его письмо, адресованное заседанию, прочитанное Марковым и вызвавшее возмущение присутствующих “наглостью и цинизмом”, — как они его определили.

Вот его текст: “Я искренне хотел прийти на заседание и для этого приехал в город, но неожиданно почувствовал себя плохо. Пусть товарищи не считают моего отсутствия знаком невнимания. Записку эту пишу второпях и наверное не так гладко и убедительно, как хотел бы.

Я еще и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные “Доктору Живаго”. Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звания.

Я совсем не надеюсь, чтобы правда была восстановлена и соблюдена справедливость, но все же напомню, что в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий. Роман был отдан в наши редакции в период печатания произведения Дудинцева и общего смягчения литературных условий. Можно было надеяться, что он будет напечатан. Только спустя полгода рукопись попала в руки итальянского коммунистического издателя. Лишь когда это стало известно, было написано письмо редакции “Нового мира”, приводимое “Литературной газетой”. Умалчивают о договоре с Гослитиздатом, отношения с которым тянулись полтора года. <…> Теперь огромным газетным тиражом напечатаны исключительно одни неприемлемые его места, препятствовавшие его изданию и которые я соглашался выпустить, и ничего, кроме грозящих лично мне бедствий, не произошло. Отчего же нельзя было его напечатать три года тому назад, с соответствующими изъятиями.

Дармоедом в литературе я себя не считаю. Кое-что я для нее, положа руку на сердце, сделал. <…>

Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России, и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался.

По поводу существа самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью. <…>

Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много!! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит”.

Пастернак единогласно был исключен из членов Союза писателей, нависала угроза над его дачей в Переделкине, арендованной у Литфонда.

На следующий день Лидия Корнеевна Чуковская пошла к нему мимо дежурившей у них на улице машины с сотрудниками КГБ и рассказала о состоявшемся вчера заседании и его исключении. Сняв с нее пальто и усадив против себя, “он заговорил, перескакивая с предмета на предмет и перебивая себя неожиданными вопросами:

— Как вы думаете, и Лёне они сделают худо?

— Как вы думаете, у меня отнимут дачу?”

Рассказал, что вчера, по его возвращении из Москвы, к нему привезли на машине литфондовскую врачиху.

“— Как вы думаете, почему ее послали. Потому что я написал о своем здоровье? Послали врача — лечить?

— Да, по-видимому, — сказала я без уверенности. — Это называется “беспощадность к врагу” в сочетании с ”заботой о человеке”.

— А мои близкие говорят, это была проверка: в самом ли деле я болен <…> А знаете, — сказал он с раздумьем, взяв меня за руку и близко заглянув мне в глаза, — мои друзья, Ивановы, говорят, что мне следует уехать отсюда в город, потому что здесь, на улице, может кто-нибудь запустить в меня камнем.

Он вскочил и остановился передо мной.

— Ведь это вздор, не правда ли? У них воображение расстроено”.

Пастернак вышел проводить Лидию Корнеевну. Ему нужно было позвонить в Москву, и она предложила ему пойти для этого к ним на дачу.

“Безлюдье, пустота, безмолвие дороги и поля охватило нас и заставило замолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву.

— Как странно, — сказал он, с совершенною точностью выговаривая мою собственную мысль, — никого нет, а кажется, что кто-то смотрит.

— Упырь? — спросила я. — Тот, блоковский, или недавний, наш, все равно.

Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине вразвалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один даже высунулся. Они-то и есть — око? Нет, Блок прав, если бы только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря…”.

“Темные дни и еще более темные вечера времен античности или Ветхого Завета, — писал Пастернак Жаклин де Пруайяр, — возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятья на дорогах и возле кабака, которые доносились до меня во время вечерних прогулок, я не отвечал на эти крики и не шел в ту сторону, но и не поворачивал назад, а продолжал прогулку. Но меня все здесь знают, мне нечего бояться”.

В эти страшные дни анафематствования приехала к нему в Переделкино Елена Александровна Софроницкая, дочь Скрябина, знакомство с которой началось летом 1903 года в Оболенском, ей было тогда три года. Она взяла с собой свою дочь, Ксану. На дороге их остановил какой-то тип. “Куда вы — нельзя”. Елена Александровна сказала:

— Я иду к моему другу Борису Леонидовичу Пастернаку.

Тип пропустил ее и обратился к Ксане:

— Ну ладно, — старуха с ума сошла, а ты ведь молодая — подумай, куда ты идешь.

Свой приезд к Пастернаку вместе с Целиковской вспоминает Юрий Петрович Любимов. Это было после спектакля в Вахтанговском театре, где они играли Ромео и Джульетту по переводу Пастернака. Приезжал Генрих Нейгауз, приходил Асмус.

Между тем поднятая в Москве кампания шла своим чередом, 28 ноября ТАСС выступил с сообщением, что Пастернак исключен из Союза писателей за “действия, несовместимые со званием советского писателя”. Решение принято “единогласно” на собрании президиума правления Союза советских писателей, бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей. Московское радио сообщило, что Пастернак исключен и из союза переводчиков.

Одновременно за границей набирала силу волна защиты Пастернака от нападок властей. Не было ни одной газеты или журнала, которые не сообщали бы об этих событиях. Всюду были напечатаны статьи о Пастернаке, приветствия по поводу его награждения, затем отклики возмущения травлей. Это были редакционные материалы, письма и обращения отдельных лиц, обращения писательских и других организаций.

Франсуа Мориак, член Французской академии, лауреат Нобелевской премии 1952 года, сказал: “Книга Пастернака достойна восхищения. “Доктор Живаго”, очень возможно, представляет собой самый значительный роман нашей эпохи. Я не думаю, что жюри по присуждению Нобелевских премий решило присудить ее Пастернаку из каких-либо политических соображений: книга сама по себе заслуживает награды. Тот факт, что советский писатель оказался признанным за пределами своей страны, как один из лучших писателей, уже что-то значит — а это ускорит достижение понимания между двумя мирами”.

Через неделю он так реагировал на исключение и травлю: “Я с возмущением узнал о действиях, которые бьют по Борису Пастернаку. Во всяком случае я надеюсь, что советское правительство пересмотрит свое решение о запрете на его поездку в Стокгольм. Его роман прославляет прошлое России и помогает нам лучше понять Россию сегодняшнюю”.

Андре Моруа: “Роман “Доктор Живаго” написан в лучших традициях русской и европейской литературы, и трудно было сделать лучший выбор в присуждении Нобелевской премии. Пастернак — большой художник и его книга — большое литературное достижение. Я счастлив, что вместе с другими могу поздравить его с наградой”.

Через неделю он же: “Исключение Пастернака представляет собой нечто невероятное, заставляющее вставать дыбом волосы на голове. Во-первых, потому, что присуждение Шведской академией премии обыкновенно считается за честь, во-вторых, потому, что Пастернак не может нести ответственности за то, что выбор пал на него, наконец, потому, что произвол, который допустили советские писатели, лишь увеличивает пропасть между западной культурой и русской литературой. Было время, когда великие писатели, как Толстой, Чехов, Достоевский, совершенно справедливо гордились престижем, который они имели на Западе”.

Президент международного Пен-клуба Андре Шамсон сказал: “Я знал Пастернака 22 года тому назад и был с ним дружен. Я никогда не знал поэта, чей физический облик и чье присутствие сопровождались бы такой поэтической силой. Я продолжаю слышать, как он мне говорил — помнит ли он об этом? — помнит ли он вообще обо мне? — когда мы говорили о жесткости и трудности жизни: “Тем не менее она щедрее и легче…” И эта легкость была как бы отсветом души поэта, светом высокого и братского мира… Он может стать жертвой жестокого и тупого рабства в этом манихейском мире, где мы должны жить, но я еще слышу, как он мне говорит: “жизнь щедрее и легче”. Я молюсь, чтобы его повседневное существование, несмотря ни на что и, может быть, под давлением всемирного протеста сохранило чувство милости жизни”.

Через неделю Андре Шамсон писал: “То, что случилось, — ужасно и мы еще не можем судить обо всех последствиях этого события. Я всегда считал Пастернака самым выдающимся из современных русских поэтов. Его роман еще увеличивает его славу”.

Альбер Камю: “Союз советских писателей принял решение исключить Бориса Пастернака, лишает его, таким образом, источников его заработка. Но я решительно верю, что советское правительство вернется к решению этого вопроса и поймет, что не в их интересах так политизировать дело, которое не имеет ничего общего с политикой. Весь мир знает, что Союз советских писателей хотел, чтобы был награжден Шолохов, а не Пастернак. Но Шведская Академия не могла руководствоваться этим внутренним пожеланием. Она могла лишь признать литературные заслуги обоих писателей. С этой точки зрения ее выбор, далекий от того, чтобы быть политическим выбором, означает просто-напросто оценку литературного факта: Шолохов больше ничего не пишет, тогда как “Доктор Живаго” появился во всем мире, по обе стороны железного занавеса, как исключительная книга, которая намного превосходит уровень мировой литературы. Эта великая книга о любви не антисоветская, как нам хотят втолковать, она не принадлежит ни к какой партии, она всемирна.

Единственное, что России надо было бы понять, это что Нобелевская премия вознаградила большого русского писателя, который живет и работает в советском обществе. К тому же гений Пастернака, его личные благородство и доброта далеки от того, чтобы оскорблять Россию, напротив, озаряют ее и заставляют любить ее больше, чем любая пропаганда. Россия пострадает от этого в глазах всего мира лишь с того момента, как будет осужден человек, вызывающий теперь всеобщее восхищение и особенную любовь”.

Редакция лондонской “News Chronicle” 27 октября 1958 года отправила Хрущеву телеграмму с просьбой оградить Пастернака от преследования. В ее поддержку высказались Дж.Б. Пристли, Дж. Хакли, Аллан Герберт, Стивен Спендер: “Исключение Пастернака — позор для цивилизованного мира. Это означает, что он в опасности. Его надо защитить”.

Английские писатели и философы Т.С. Элиот, Б. Рассел (оба лауреаты Нобелевской премии), Морис Баура, К. Кларк, Э. Форстер, Грем Грин, Олдос Хаксли, Дж. Хаксли, Роуз Маколи, С. Моэм, Дж. Пристли, Аллан Прайс, Дж.Х. Рид, Ч.П. Сноу, Ст. Спендер, Р. Уэст 29 октября 1958 года отправили в Союз писателей телеграмму: “Мы глубоко взволнованы судьбой одного из самых больших поэтов мира Бориса Пастернака. Мы рассматриваем его роман “Доктор Живаго” как волнующий человеческий документ, а отнюдь не как политическое произведение. Мы обращаемся к вам во имя великой русской литературной традиции, которую вы представляете, чтобы вы не порочили ее, преследуя писателя, высоко чтимого всем цивилизованным миром”.

Американский Комитет защиты свободы культуры, в который входят более трехсот писателей и художников, в том числе Дж. Стейнбек и Т. Уилдер 30 октября 1958 года выступил с поздравлением Пастернака, выражением готовности поддержать его в благородной борьбе за свободу мысли и духа и возмущением подлой кампанией клеветы, которой он подвергся.

Герман Андреев, русский писатель, живущий в Германии, решительно возражает против обвинений, которыми оперирует советская пропаганда: “Что у Пастернака нет вины “перед народом”, перед людьми, имеющими право носить это звание, доказывать нечего. У него нет ни одной строчки против людей, против человека. В плане политическом — у него нет отрицания революции. Он приемлет все — и по-человечески отвергает зло, не бороться с которым могут только сами носители зла. <…> В романе “Доктор Живаго” нет “политики”, нет и политиканства. Весь роман, от первой страницы до последней, проникнут духом человечности. Это прежде всего — “человеческий роман”. Этим он продолжает традиции нашей литературы — дело Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. Потому же он целиком выпадает из так называемой “советской литературы”: в ней допускается только подделка под человечность или она проскальзывает туда лишь случайно, по неумышленному или умышленному недосмотру редакции”.

Не будем продолжать бесконечный список известных имен, выступивших в поддержку Пастернака, он сам, оторванный блокированной перепиской, ничего об этом не знал. Также не реагировала на эти призывы поднятая в Москве травля.

Занятая Пастернаком гордая позиция помогала ему в течение всей недели выдерживать оскорбления и угрозы. Мы ездили к нему каждый день. Маленькая комната с роялем была занята литфондовской врачихой, которую прислали к нему на постоянное дежурство. Она ходила обедать и ужинать в дом творчества, остальное время одиноко сидела у себя. У всех в доме это вызывало недоумение, зарождались подозрения о ее истинной деятельности. Как-то, уговорив ее пойти погулять, Зинаида Николаевна с Ниной Табидзе кинулись проверять ее чемоданчик с лекарствами и приборы, считая, что найдут там подслушивающие устройства. Но ничего подозрительного там не оказалось.

Отец предполагал, что присутствие врача в доме объясняется его жалобами на плохое самочувствие, о котором он писал, отказываясь присутствовать на заседании. У него действительно были перебои сердцебиения, повышенное давление и онемение левой руки, которые врач счел следствием переутомления и велел ему воздерживаться от занятий. Но у него было всегда наоборот — только работа давала ему хорошее самочувствие, без нее он заболевал. Шепотом он сообщил нам, что “они” боятся, что он покончит с собой, и именно поэтому прислали врача со всеми средствами необходимой срочной помощи.

Немецкому журналисту Герду Руге он тоже высказал такое предположение: “Вероятно, они боялись, что я покончу с собой… Мой дом стал больницей в те дни. Они прислали ко мне женщину-врача в качестве сиделки. Я сказал ей, чтобы она шла домой, что она может не беспокоиться обо мне. Но она не ушла, потому что ей было приказано”.

“Но, — успокаивал он нас, — я дальше, чем когда-либо, от этих мыслей”. Он рассказал, как его отец в первые годы своей женитьбы носил в кармане маленький пузырек с ядом — на случай, если семейные заботы будут мешать его художественной работе. Это было ежедневным предупреждением семье. Но теперь такие вещи представлялись ему смешным романтическим театром! Он беспокоился о нас, нет ли у нас с братом каких-нибудь неприятностей на работе или в университете, интересовался случайно доходившими слухами о волне поддержки, которая поднялась на Западе. В эти дни он продолжал срочную работу по переводу драмы польского романтика Юлиуша Словацкого “Мария Стюарт”, — “чтобы сохранить рассудок и здоровье” — как писал он Жаклин де Пруайяр.

Пастернак не читал газет, но от близких знал, сколько ненависти и грязи выплескивалось в эти дни на их страницы. “Перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну: так меня обливают помоями”, — записал Вс. Иванов его слова 27 октября.

В воспоминаниях Ивинской ярко рассказано о ее свидании с Фединым, о чем в тот же день, 28 октября, был оповещен Поликарпов. Федин описывал приход Ивинской с просьбой “спасти” Пастернака от намерения покончить с собой. В нем очень важно признание Ивинской, что “она готова составить “любое” письмо кому только можно, и “уговорить” Пастернака подписать его”. Отсюда протягиваются прямые аналогии к проблеме авторства писем к Хрущеву и в “Правду”.

Ничего не зная о встрече Ивинской с Фединым, утром следующего дня Пастернак отправил телеграмму в Стокгольм с отказом от Нобелевской премии: “В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я вынужден отказаться от незаслуженной премии, пожалуйста, не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ”.

Другая телеграмма была послана Поликарпову в ЦК: “Благодарю за двукратную присылку врача отказался от премии прошу восстановить Ивинской источники заработка в Гослитиздате”.

Этот поступок был сделан в приступе отчаяния, последовавшего непосредственно после телефонного разговора с Ивинской.

Через несколько лет, вернувшись из заключения, в котором после смерти Пастернака она провела три года по незаконному обвинению в получении денег за “Доктора Живаго”, Ольга Ивинская рассказала нам, что в тот день она обрушилась на Пастернака с упреками в легкомыслии и эгоизме. “Тебе ничего не будет, а от меня костей не соберешь”. Ее тогда очень напугал отказ в издательстве дать ей обещанный перевод. Она увидела в этом следствие шантажа со стороны КГБ. Упреки переполнили чашу терпения Пастернака, и все перестало его интересовать. Рассказывая нам этот эпизод, Ивинская видела в нем лишь глубокое проявление любви к ней. Ее друг французский славист Жорж Нива в своих воспоминаниях, сохранившихся в архиве Сент Энтони колледжа в Оксфорде, тоже писал, что Пастернак отказался от Нобелевской премии ради спасения Ивинской.

Корреспондент “New York Times” Генри Шапиро передает слова Пастернака в тот день: “Я принял это решение совершенно один. Я ни с кем не советовался. Я не сказал об этом своим друзьям”.

Шведская Академия ответила: “Шведская Академия получила ваш отказ с глубоким сожалением, симпатией и уважением” (Reuter, 30 October 1958).

В тот же день на съезде по случаю 40-летия комсомола в присутствии 12 тысяч человек, включая руководство во главе с Хрущевым, первый секретарь ЦК комсомола В. Семичастный в своем докладе выступил против Пастернака с мерзкими выпадами. Лидия Корнеевна Чуковская прочла эту речь в “Комсомольской правде”. “Сначала сравнение с овцой. Паршивая овца в стаде. Ну, это обыкновенно. Потом — образ не выдержан! — овца превращается в свинью”.

Выступление Семичастного было заснято телевидением, и сравнение со свиньей теперь многократно тиражируется во всех посвященных Пастернаку фильмах. Говорят, что эти слова были сказаны самим Хрущевым, Семичастный только повторил их в угоду своему хозяину, закончив этот пассаж выражением своего мнения, ясно показав, что он совершенно незнаком с романом Пастернака и ничего не знает о его отказе от премии: “А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался. Я уверен, что общественность приветствовала бы это! Пусть он стал бы, пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай! Я уверен, что и общественность и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а наоборот, считали бы, что его уход из нашей среды освежил бы для нас воздух”.

В тот же день, 29 октября, газеты сообщили о присуждении Нобелевской премии по физике Тамму, Франку и Черенкову. В конце неподписанной статьи содержался иезуитский абзац о принципиальной разнице между Нобелевской премией по литературе и по физике: если первая — политическая акция, то вторая — заслуженная награда и признание успехов советской науки. Вечером мой друг М. Левин просил меня съездить в Переделкино с ним и академиком Леонтовичем, который хотел объяснить Пастернаку, что настоящие физики не поддерживают этого мнения. В частности, требуемую статью отказался написать академик Л.А. Арцимович, сославшись на завет Павлова ученым говорить только то, что знаешь, и потребовал, чтобы ему дали для этого прочесть “Доктора Живаго”.

Была метель, но до Переделкина доехали очень быстро. Я побежал на дачу, Зинаида Николаевна мрачно сказала, что папы нет дома — он пошел звонить по телефону. Она выразила сомнение в том, что он сможет принять академика. С этими неутешительными сведениями я вернулся обратно, но вскоре сквозь летящие хлопья густого снега мы различили в свете фонаря чью-то фигуру. Это был отец, который шел неуверенной походкой и оглядывался назад. Я не сразу узнал его. Его лицо было серым и страшным. Я кинулся объяснять ему, что привез Леонтовича, который хочет высказать свое участие и извиниться за физиков, но он отстранил меня рукой, сказав, что теперь это все уже ни к чему, потому что он отказался от премии. Папа просто не понимал, о чем идет речь, — он не читал никакой статьи и ничего не знал. Но вскоре между ним и академиком завязался разговор. Папа привел текст своей телеграммы с отказом от премии, объясняя его тем, какое значение приобрела эта награда в нашем обществе, — и переводил французские слова телеграммы на русский. Все вместе медленно дошли до ворот его дачи, где он извинился, что не может нас принять, потому что утром ездил в город и очень устал. До Москвы ехали молча, я попытался загладить неловкость и сказал, как неожиданно было для меня увидеть папу в таком угнетенном состоянии духа. Вчера еще он был бодрым и стойким. Леонтович оборвал меня, сказав, что я дурак и что его, напротив, поразило духовное величие Пастернака.

Подобный отказ Пастернака от премии не устраивал никого, — ни в Кремле, ни в Союзе писателей никто его не заметил. Намеченная программа “гнева и возмущения” шла своим чередом. Принесенная жертва никому не была нужна и только мешала ходу кампании, которая продолжала разворачиваться. Случайно доходившие отголоски бури, разразившейся в эти дни в мировой прессе, не могли заглушить более близких и все более настойчивых разговоров о готовящемся лишении Пастернака гражданства и высылке из страны. Впервые это требование прозвучало на собрании президиума Союза писателей 25 октября 1958 года из уст Н. Грибачева и С. Михалкова, поддержанное Верой Инбер. Более отчетливо оно было высказано в выступлении В. Семичастного и приобрело форму прямого обращения к правительству на Общемосковском собрании писателей, состоявшемся 31 октября.

Это заседание длилось пять часов. Присутствовало 800 человек, выступили 14, среди них: Л. Ошанин, А. Безыменский, А. Софронов, С. Антонов, С. Баруздин, Л. Мартынов, Б. Слуцкий, В. Солоухин. Председатель собрания С.С. Смирнов среди множества нападок на Пастернака упоминал о его отказе в 1950 году подписать Стокгольмское воззвание в защиту за мира и о поздравлениях, полученных от таких людей, как “никому не известный во Франции”, “фашиствующий” писатель Камю. Он предложил обратиться к правительству с просьбой о лишении Пастернака советского гражданства. Одновременно заседание партбюро Литературного института одобрило инициативу студентов обратиться с письмом, “осуждающим предательские действия Пастернака” и требующим “сурового наказания изменнику нашей Родины”.

В бумагах О. Ивинской, через которую шли переговоры с ЦК и переписка Пастернака, сохранились наброски письма Пастернака с благодарностью за мягкую форму изгнания с разрешением на выезд с семьей и просьбой выпустить вместе с ним его близкого друга О.В. Ивинскую с детьми, “в разлуке с которой, в неуверенности в судьбе которой и в страхе за которую, существованье мое немыслимо”.

Газеты печатали выступления рабочих, колхозников и провинциальных деятелей в поддержку официального мнения. Так собрание калмыкских писателей, называло Пастернака антисоветским писателем, потому что он “абсолютно ничего” не написал о счастливой жизни калмыков. Калмыки были реабилитированы лишь в 1957 году после депортации 1943 года, когда их имя было вычеркнуто из списков советских национальностей.

Разумеется, никто из писавших не читал романа. Тогда была выработана формула, часто применявшаяся после: “Я Пастернака не читал, но знаю, что…” и дальше идет набор штампованных обвинений.

Незамеченный на родине отказ Пастернака от Нобелевской премии поднял новую лавину возмущения на Западе. Члены Шведской академии выразили свой протест против нападок на Пастернака в русской печати. Андерс Эстерлинг заявил: “Приезд Пастернака 10 декабря сомнителен”, но утверждал по-прежнему: “Роман “Доктор Живаго” выдвинул Пастернака на вершины мировой литературы. Нобелевская премия присуждена ему исключительно за его заслуги в литературе. О политике не было даже и речи”. Телеграмму Пастернака с отказом от премии он комментировал так: “За этим чувствуется человеческая трагедия, которая всех нас волнует. Когда члены жюри остановили свой выбор на Пастернаке, они руководились только соображениями литературного порядка. Происходящее в настоящее время не может повлиять на вынесенное нами решение, поэтому принципиальная ценность награды останется неизменной”.

Альбер Камю: “Я не верю, что Пастернак добровольно отказался принять Нобелевскую премию. Я надеюсь, что этим я совершенно ясно выразил то, что думал”.

Франсуа Мориак: “Я с возмущением узнал о действиях, которые бьют по Борису Пастернаку. Во всяком случае я надеюсь, что советское правительство пересмотрит свое решение о запрете на его поездку в Стокгольм. Его роман прославляет прошлое России и помогает нам лучше понять Россию сегодняшнюю”.

Бертран Рассел: “Я не могу скрыть своего возмущения по поводу того, что советское руководство пошло по такому пути. Может быть, Пастернак отказался от премии добровольно, однако очевидно, что добровольность эта лишь номинальная. Слишком уж грязная работа”.

Из перехваченного КГБ письма корреспондента “New York Times” Макса Френкеля известно, что он посетил Пастернака и принес пачку откликов на издания “Доктора Живаго”. Он писал своему другу в Америку, что от наведывавшихся к нему посетителей Пастернак “услышал и узнал все, что его интересовало”. Признаться, судя по записи Чуковской, мы сомневаемся, что “посетителей” было много. Об этом говорит и тот факт, что в те дни не нашлось оказии, чтобы передать Жаклин де Пруайяр предложение поехать вместо него в день вручения премии в Стокгольм. Открытка была послана по почте. Но вся переписка Пастернака была блокирована в это время и открытка не дошла до адресата.

“Надеюсь, что Вы получили мою открытку, касающуюся 10 декабря в Ст<окгольме>, — писал Пастернак 28 ноября. — Не подумав о вашей нечеловеческой занятости и нехватке времени, я предлагал вам воспользоваться вашей прежней доверенностью, написанной до грозных событий, до скандала. Я представлял себе, как вы, может быть, отправитесь в Ст<окгольм> и не по моему поручению, а в соответствии с вашими собственными правами, примете вместо меня свободное участие в церемонии выдачи премии и по-своему скажете ответную речь, обращенную к королю”.

Об этой открытке упоминал 18 февраля 1959 года в докладной записке ЦК министр госбезопасности А. Шелепин: “…Как это установлено в ходе контроля за корреспонденцией Пастернака, он пытался отправить за границу ряд писем, в которых подтверждал свое удовлетворение присвоением ему Нобелевской премии, и уполномачивал получить ее свою знакомую графиню де Пруайяр, проживающую во Франции”.

Утром в воскресенье 1 ноября я по предложению О.Г. Савича поехал вместе с ним к Эренбургу, только что вернувшемуся из Швеции. Илья Григорьевич ездил вручать Ленинскую премию Лундквисту и рассказал, что в Швеции страшный скандал, и Лундквист отказался от премии. Все радио и газеты говорят только о Пастернаке, и ему звонил по телефону один фермер и возмущался тем, что он может разориться из-за этого скандала — ему надо знать цены на зерно, прогнозы погоды и прочее, а все средства сообщения твердят только о Пастернаке. Эренбург рассказал о заступничестве Джавахарлала Неру, об интервью Хемингуэя, который предлагал Пастернаку свой дом на Кубе, и Стейнбека. Хотя Хрущев, конечно, не читал никаких писем, и ему не было до них дела, но когда ему позвонил по телефону Неру, то нашим посольствам были даны распоряжения разослать официальные заверения в том, что жизнь, свобода и имущество Пастернака вне опасности.

Я спешил уехать, чтобы скорее пересказать все это отцу. Я надеялся, что это поддержит его и укрепит. Он был в своем парадном черном костюме и, перебив мой рассказ, побежал на дачу к Ивановым к телефону, видимо, его собирались везти в Москву. Но скоро вернулся, его порадовали известия о поддержке Хемингуэя, Хаксли и Стейнбека.

В тот день было напечатано его письмо к Хрущеву. Сохранилась машинопись этого письма с замечаниями Пастернака синим и красным карандашом на полях. Он просил заменить “в вашем письме” абзац: “Я являюсь гражданином своей страны...” словами: “Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее”.

В конце страницы его синим карандашом вычеркнуто: “Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры” и написано: “Я это обещаю. Но нельзя ли на это время перестать обливать меня грязью”. Эти слова Пастернака зачеркнуты чужой рукой простым карандашом.

История появления этого письма описана в книге О. Ивинской, которая пишет, что ее подтолкнул к его написанию “молодой адвокат Зоренька Гримгольц” (правильно Грингольд) из Управления по охране авторских прав. Идею письма “кому угодно” с обещанием “уговорить” Пастернака его подписать Ивинская выдвигала еще в своем разговоре с Фединым 28 октября. О коллективном авторстве письма вспоминает также Вяч.Вс. Иванов. Вызвав его к себе, Ивинская сообщила ему, что, “по словам адвокатов по авторским правам, ситуация стала угрожающей. Если Борис Леонидович не напишет письма с покаяниями, то его вышлют за границу. “Его вышлют, а нас всех посадят”, — со свойственной ей категоричностью сформулировала Ариадна Сергеевна <Эфрон. — *Е.П.*>.

“Я согласился, — пишет Иванов, — тут же принять участие вместе с двумя уже названными собеседницами и Ирой Емельяновой, дочкой О.В. Ивинской, в сочинении текста письма Хрущеву, желательное общее содержание которого было подсказано Ольге Всеволодовне теми же адвокатами. В тот вечер я был писцом: не желая умалять своей роли, ни оправдываться, скажу только, что мне (как и Ире) формулировки давались с трудом, их в основном придумывали Ольга Всеволодовна и Ариадна Сергеевна, а я записывал после обсуждения.

Когда мы решили, что текст в основном готов, мы вдвоем с Ирой поехали в Переделкино к Борису Леонидовичу. <…>

После очень долгого телефонного разговора с Ольгой Всеволодовной Пастернак взял у меня текст, перепечатанный ею с моего черновика. Мы условились, что я зайду к нему через некоторое время на дачу”.

Текст письма с вышеприведенными поправками был отвезен в Москву.

Включать этот текст в собрания сочинений, как это сделали в Америке и во Франции, и публиковать его в сборниках как “письмо Пастернака” абсолютно недопустимо. В его лексике несомненно использованы отдельные выражения Пастернака, в частности, взятые из его письма к Фурцевой, написанного 24 октября, и вставлена вписанная им фраза, но этим его участие ограничивается. Машинописная копия письма с подписью Пастернака имеется в архиве ЦК, но это такая же вынужденная подпись, как и под письмами к Фельтринелли или Галлимару, которые рассылались в августе 1957 года Отделом культуры.

Однако письмо не сняло угрозы высылки, напротив, в “Заявлении ТАСС”, сопровождавшем его публикацию, говорится:

“В связи с публикуемым сегодня в печати письмом Б.Л. Пастернака товарищу Хрущеву ТАСС уполномочен заявить, что со стороны советских государственных органов не будет никаких препятствий, если Б.Л. Пастернак выразит желание выехать за границу для получения присужденной ему премии. Распространяемые буржуазной прессой версии о том, что будто бы Б.Л. Пастернаку отказано в праве выезда за границу, являются грубым вымыслом. Как стало известно, Б.Л. Пастернак ни в какие советские государственные органы с просьбой о получении визы для выезда за границу не обращался, со стороны этих органов не было и не будет впредь возражений против выдачи ему выездной визы.

В случае, если Б.Л. Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своем антисоветском сочинении “Доктор Живаго”, то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий. Ему будет предоставлена возможность выехать за пределы Советского Союза и лично испытать все “прелести капиталистического рая“”.

И это при том, что ТАСС не мог не знать, что Пастернак отказался от премии! Теперь мы хорошо знаем, как через какие-нибудь десять лет поездки за границу с благословения властей оборачивались лишением гражданства, разлукой с родными и невозможностью вернуться назад. После такого “милостивого разрешения” Зинаида Николаевна Пастернак, не пустив журналистов дальше порога, сказала им, что муж спит и что шум вокруг присуждения Нобелевской премии очень его утомил”. “Самое страшное для моего мужа — это изгнание”, — добавила она.

Иезуитское сообщение ТАСС о том, что Пастернаку не будут чинить препятствий в выезде за границу, было с тревогой воспринято в семье. Отец спросил меня, поеду ли я с ним в таком случае. Я ответил:

— Конечно.

Он поблагодарил меня и грустно добавил:

— А вот Зинаида Николаевна и Ленечка сказали, что не поедут со мной, потому что не могут покинуть родину. Ведь меня могут не пустить потом обратно.

Он рассказал, что его снова вызывал к себе Поликарпов и потребовал от него, чтобы он помирился с народом.

— Ведь вы — умный человек, Дмитрий Алексеевич, — передавал нам папа свой разговор с ним. — Как вы можете употреблять такие слова. Народ — это огромное, страшное слово, а вы его вытаскиваете, словно из штанов, когда вам нужно.

По требованию Поликарпова снова было составлено еще одно “письмо Пастернака” в редакцию газеты “Правда”. Его происхождение сложнее, чем описывает Ивинская в своей книге. Несколько иная версия рассказана ею для “Огонька” и передает историю этого письма, по-видимому, более точно: “Борис Леонидович написал — сначала это было отнюдь не покаянное письмо. Потом над ним сильно потрудились, так что получилась ложь и признание вины. Да еще подчеркнуто добровольное”.

Сохранились черновики этого письма: первоначальный автограф Пастернака, машинопись Поликарпова с заметками на полях и отдельными абзацами, написанными рукой Пастернака, приклеенными на листы машинописи и оторванными. В предложенном Пастернаком тексте было:

“В продолжение бурной недели я не подвергался судебному преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Если благодаря посланным испытаниям я чем и играл, то только своим здоровьем, сохранить которое помогли мне совсем не железные запасы, но бодрость духа и человеческое участие. Среди огромного множества осудивших меня, может быть, нашлись отдельные немногочисленные воздержавшиеся, оставшиеся мне неведомыми. По слухам (может быть, это ошибка) за меня вступились Хемингуэй и Пристли, может быть, писатель-траппист Томас Мертон и Альбер Камю, мои друзья. Пусть, воспользовавшись своим влиянием, они замнут шум, поднятый вокруг моего имени. Нашлись доброжелатели, наверное, у меня и дома, может быть, даже в среде высшего правительства. Всем им приношу мою сердечную благодарность.

В моем положении нет никакой безвыходности. Будем жить дальше, деятельно веруя в силу красоты, добра и правды. Советское правительство предложило мне свободный выезд за границу, но я им не воспользовался, потому что занятия мои слишком связаны с родною землею и не терпят пересадки на другую”.

В записке, сопровождавшей предложенный текст письма, Пастернак просил Поликарпова “не увлекаться переделкой и перекройкой” написанного “до неприличья *искренно*” и решительно отказывался от участия в пресс-конференции, на которой тот настаивал. “После всего, что *все же* допустили со мной наделать, дачу подожгут или в ней перебьют стекла после такой конференции”, и просил восстановить блокированную переписку.

В беседе, состоявшейся накануне, Поликарпов давал обещания наладить Пастернаку остановленные заработки. Ивинская вспоминает, что в качестве “платы” за письмо “Поликарпов твердым голосом заявил, что выручит нас в переиздании “Фауста”, и обещал снять вето с Бори и меня в Гослитиздате, так что нас будут снабжать переводческой работой”. Но все это снова оказалось чистой ложью. Переиздание “Фауста” вышло только после смерти Пастернака, а деньги за сданный в издательство перевод “Марии Стюарт” Словацкого, так же, как и за книгу стихов и переводов, вышедшую в Тбилиси, были выплачены только через год.

Публикация в газетах покаянных писем Пастернака должна была спустить на тормозах разбушевавшуюся “ярость масс”, требовавших суровой кары “предателю”. Резкий спад кампании и решение отказаться от каких-либо материалов о Пастернаке в печати были вызваны реакцией западной прессы, впервые с таким подъемом бросившейся на защиту русского писателя.

Приведем слова Джона Стейнбека о его отношении к истории с Пастернаком, написанные им для использования в печати:

“Присуждение Нобелевской премии Пастернаку и яростные советские нападки на это меня крайне огорчили, но не за Пастернака. Он выполнил как писатель свой долг, увидел и описал свой мир и высказал свое мнение о нем. То, что это произведение нашло признание во всем мире, должно быть огромным ему удовлетворением. Пастернак не заслуживает сожаления, — он достоин зависти, несмотря на то, как жестоко с ним обходятся. Жалость и презрение вызывают те бедные официальные писатели, которые призваны держать суд над книгой, которую им не разрешено прочесть. Это стервятники от искусства, которые в свое время сами дали подрезать себе крылья и лишить себя вдохновенья орлиного полета. Эти, по существу, несчастные и скрюченные калеки, в совершенной растерянности и бессильной злобе к тому, кто не сдался под гнетом и не пал. Они — гробовщики советской литературы, и теперь они должны понять всю тяжесть своего дела. Как бы они ни оговаривали Пастернака и ни обвиняли в предательстве — его книга опровергает все их утверждения — ныне и навсегда. Подлинные предатели литературы — судьи Пастернака, и они будут наказаны подобно судьям Сократа — их имена будут в истории забыты и будут вспоминать только о их глупости”.

Роман был восторженно принят в Индии, где протестовали против нобелевского скандала. Он находился в русле национальной традиции, в частности Ганди и его движения, близкого к толстовству.

Как сообщал посол Индии в Москве К.П.Ш. Менон, Джавахарлал Неру получил копию письма Хрущеву от группы английских писателей, которые просили его “спасти” Пастернака и не применять к нему репрессий. Неру запросил Менона, что ему следует предпринять. На пресс-конференции 7 ноября он, еще не прочтя, по его признанию, роман Пастернака, сказал: “Я знаю его, как великого поэта, единственного в наше замечательное время и как великую литературную фигуру, мы его уважали и будем уважать”. Он сказал, что нападки русских на него “огорчают нас, потому что это полностью противоречит нашему отношению к таким вопросам. Если известный писатель выражает мнение, противоречащее принятому, оно должно быть уважаемо и иметь возможность быть свободно выраженным”.

Через год Пастернак получил от Неру надписанную им фотографию с добрыми пожеланиями.

Газета “Times of India” писала: “Какой позор! Неужели нельзя было оставить в покое пожилого человека, который одухотворил русскую литературу? До какого же предела доведено унижение поэта, все преступление которого заключается в том, что он посмел прервать свое молчание и поведать миру о скорби, выношенной им в сердце и затаенной годами? Что можем мы сказать о хаме, осмелившемся в присутствии 12 000 человек сказать, что Борис Пастернак “хуже свиньи, потому что гадит там, где ест и живет, чего свиньи не делают”! Мы можем лишь со стыда закрыть руками лицо. Позор ложится не на молодежь, которую нельзя винить за недостаток культуры и нечувствительность к поэзии, а на грубость того общества, в котором такие непристойности не только допускаются, но еще и передаются по телевиденью. Ужас положения заключается не в брани борзописца, а в молчании тех, которые отдают себе отчет в истинном положении вещей, но не смеют выступить в защиту Пастернака <…>

C точки зрения интеллектуальных кругов, позор заключается не в том, что какие-то фанатики захотели выбросить Пастернака из страны, к которой он так привязан, а в том, что этого добиваются литераторы <…> В пылу шумихи, поднятой вокруг “Доктора Живаго”, многие забыли, что Пастернак прежде всего поэт. Они, по-видимому, не заметили самого главного в его произведении — его возврата, перед лицом нынешней ненависти и жестокости в отношениях людей, к христианским духовным ценностям. Подобный же смысл в свои произведения могли вложить и Толстой и Ганди, если бы жили в советском обществе и писали о катастрофических событиях 1917 и последующих годов”.

Приехав к отцу в воскресение после публикации второго письма, мы оказались невольными свидетелями того, как по дорожке сада один за другим стали приходить друзья — большей частью дамы. Они заходили ненадолго и с опаской — выразить внимание, узнать, как и что. Некоторое время они беседовали с Зинаидой Николаевной. Страшной печатью времени была боязнь тайных осведомителей и всеобщая подозрительность друг к другу. Действительно, эти визиты строго контролировались, и теперь мы встречаем имена тех людей в документах председателя Комитета госбезопасности А. Шелепина:

“Докладываю, что органами госбезопасности выявлены следующие связи Пастернака из числа советских граждан: писатель Чуковский К.И., писатель Иванов В.В., музыкант Нейгауз Г.Г., народный артист СССР Ливанов Б.Н., поэт Вознесенский А., редактор Гослитиздата Банников Н.В., ранее работал в отделе печати МИДа СССР, переводчица Ивинская О.В., работает по договорам <...>. 8 февраля, в связи с днем рождения Пастернака его навестили дочь композитора Скрябина, вдова композитора Прокофьева, пианист Рихтер с женой и жена народного артиста СССР Ливанова”.

Этот небольшой список свидетельствовал о нешуточной угрозе, встававшей тогда во всей реальности недавнего сталинского прошлого. Прекращение газетной кампании никоим образом не означало прощения.

Зима 1959 года была для Пастернака очень трудной. С возобновлением переписки он стал получать многочисленные письма с просьбами о помощи. В западной прессе публиковались сообщения об огромных суммах, вырученных за “Доктора Живаго”, отголоски которых волновали также Отдел культуры ЦК, желавший прибрать эти деньги к рукам, о чем открыто говорят документы из его архива.

“Советское посольство в Швеции (т. Гусев) сообщает о том, что в шведской прессе публикуются информации о поступлении в адрес итальянского издателя Фельтринелли больших сумм денег за издание романа Б. Пастернака “Доктор Живаго”. По сообщению газеты “Дагенс нюхтер”, Фельтринелли заявил, что до декабря 1958 года на специальный счет, открытый им в Швейцарии, поступило 900 тыс. долларов <…> в качестве гонорара, предназначаемого Б. Пастернаку. По мнению посольства, накапливающиеся суммы гонорара за роман “Доктор Живаго” могут быть использованы антисоветскими организациями для создания фонда во враждебных Советскому Союзу целях. Учитывая это обстоятельство, посольство предлагает попытаться повлиять на Б. Пастернака в том направлении, чтобы он передал принадлежащий ему гонорар Всемирному Совету Мира”.

Кампания травли Пастернака остановила все причитавшиеся ему денежные выплаты в Москве, — он не получил не только за перевод драмы Словацкого, — перестали идти спектакли, поставленные по пьесам Шиллера и Шекспира, из собрания сочинений Шекспира выкидывали переведенные им драмы и отдавали их для нового перевода другим. То, чего он боялся не за себя, а за близких, зависевших от его заработков, произошло. Пастернак мучительно изыскивал средства к существованию. Он вынужден был залезать в долги и писал в Управление по авторским правам с просьбой выплатить ему деньги, причитающиеся за сделанные и изданные работы:

“1) По тбилисскому издательству “Заря Востока” за выпущенную ими весною книгу “Стихи о Грузии и грузинские поэты”, а также за участие в отдельных переводных изданиях Чиковани, Леонидзе и др., в общей сложности задолженность более 21-й тысячи <…>.

2) По Гослитиздату, согласно договору “10876 от 17/Х-58 г. Означенная в договоре работа (стихотворный перевод драмы Словацкого) выполнена и сдана около полутора месяцев тому назад.

Вместе с тем остается в силе моя третья просьба, обращенная к Вам в устной форме, выяснить, будут ли действительно давать мне работы и их оплачивать в виде нужного мне заработка, как о том все время делаются официальные заявления, пока не соответствующие истине, потому что в противном случае мне придется искать иного способа поддерживать существование…”.

В эти дни он горько жаловался, что, приученный работать каждый день и получать в соответствии с количеством написанных строк, он теперь на семидесятом году жизни не в силах прокормить свою семью и, как в молодости, вынужден искать возможность заработка.

О поисках “иного способа” получения денег Пастернак открыто заявлял еще осенью, когда его заставляли подписывать письма в правительство, и он получил от Поликарпова обещание наладить его заработок. Это было намерением прибегнуть к денежному обмену с Хемингуэем, Лакснессом или Ремарком, книги которых издавались в Москве и авторские оплачивались им в рублях. О. Ивинская вспоминала, как стыдился Пастернак “этих поликарповских писем” и пенял ей на то, что она “заставила” его их подписать. “Сознайся, — добавлял он, — ведь мы из вежливости испугались!” Чувство стыда за сделанные уступки пробуждало дерзкую решимость.

Не получая ответа, Пастернак 16 января 1959 года обратился с письмом к Поликарпову. Оно сохранилось в автографе и звучит открытым вызовом доведенного до крайности человека:

“Дорогой Дмитрий Александрович, помнится я расписывал, что я не подвергался никаким нажимам и притеснениям, что от роскошной поездки (без оставления заложников), любезно предоставлявшейся мне, я отказался *добровольно*, — я бессовестно врал под Вашу диктовку не затем, чтобы мне потом показали кукиш. Я понимаю, я взрослый, что я ничего не могу требовать, что у меня нет прав, что против движения бровей верховной власти я козявка, которую раздавить и никто не пикнет, но ведь это случится не так просто, перед этим где-нибудь об <этом> пожалеют. Я опять-таки понимаю, что если я на свободе и меня не выгнали с дачи, это безмерно много, но зачем в придачу к этим сведениям соответствующим истине, два ведомства министерство культуры и мин<истерст>во ин<остранных> дел дают заверения, что я получаю и впредь буду получать заказы и платные работы, что со мной будут заключать договора и по ним расплачиваться, между тем, как по этой части установилась царственная неясность, дожидающаяся выяснения от тех же верховных бровей, чего никогда не будет.

Вы мне напомнили, что дело примирения с Союзом <писателей> Вы выделили и, как условие существования, возложили на меня. О, зачем же я должен это помнить, зачем должен я быть воплощением благородства и верности честному слову среди сплошной двойственности и притворства? <…> Я вообще по глупости ожидал знаков широты и великодушия в ответ на эти письма. Действительно страшный и жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но разумеется, куда им всем против нынешней возвышенности и блеска. <...> Никому выше Вас я писать не буду, ничего другого предпринимать не стану”.

Последние слова означали отказ писать Хрущеву, к чему его подталкивал Поликарпов. Однако Пастернака снова удалось уговорить. Сохранились сделанные рукою О. Ивинской заготовки письма к Хрущеву и неподписанная машинка, вложенная в записную книжку Пастернака.

После “вежливого” и казенного начала, в котором звучит голос соавтора, вступают громкие ноты обманутого и рассерженного человека:

“Суд вынесен о книге, которой никто не знает. Ее содержание искажено односторонними выдержками. Искажена ее судьба. Появлению ее на Западе предшествовали полуторагодовалые договорные отношения с Гослитиздатом на ее цензурованное издание. Но мне не хочется препираться по этому поводу. Раз это не разобрано, значит такой разбор не желателен. Кроме того, такие пререкания повели бы к новым искажениям.

В дни потрясений, когда я обращался к Вам за защитой, я понимал, что должен чем-то поплатиться, что в возмездие за совершившееся я должен понести какой-то ощутимый, заслуженный ущерб. Я мысленно расстался со своей самостоятельной деятельностью, я примирился с сознанием, что ничего из написанного мною самим никогда больше не будет переиздано и останется неизвестным молодежи. Это для писателя большая жертва. Я пошел на нее. Но благодаря знанию языков я не только писатель, но еще и переводчик. Я не думал, что эта полуремесленная деятельность, ничего общего не имеющая с кругом личных воззрений и служащая мне средством заработка, будет мне закрыта. Надо попросту желать мне зла, чтобы лишать меня и этой безобидной и безвредной работы. <…>

По последствиям я догадаюсь о Вашем решении, они мне будут ответом. Если же они не последуют, даю Вам честное слово, я без чувства личной горечи и обиды приму судьбу и расстанусь с лишними надеждами, как с ненужным заблуждением”.

В докладной записке ЦК А. Шелепин приводил выдержку из перехваченного письма Пастернака Мак Грегору:

“Я напрасно ожидал проявления великодушия в ответ на два моих опубликованных письма. Великодушие и терпимость не в природе моих адресатов, оскорбления и унижения будут продолжаться. Петля неясности, которая все больше и больше затягивается вокруг моей шеи, имеет целью силой поставить меня в материальном отношении на колени, но этого никогда не будет. Я переступил порог нового года с самоубийственным настроением и гневом”.

Самоубийственное настроение и гнев были вызваны мучительным чувством оскорбления и душевной грязи. Сознанием унижения и напрасного компромисса. Они нашли себе выражение в отчаянно смелом поступке Пастернака, когда, принимая у себя на даче навещавших его иностранцев, он передал корреспонденту “Daily Mail” Энтони Брауну, отправлявшемуся на следующий день в Париж, стихотворение “Нобелевская премия” с просьбой передать его Жаклин де Пруайяр. Это был открытый вызов той трясине униженности и покорности, в которой он не желал более находиться.

Зам. заведующего отделом стран Америки МИДа В.А. Кузьмищев, сопровождавший уругвайского журналиста А. Этчепари на дачу Пастернака оказался свидетелем передачи стихотворения Брауну 30 января 1959 года и сообщал об этом в ЦК. Он указывал, что при встрече Пастернак сказал, что “ему страшно надоело принимать всяких иностранцев”, и потом в течение всего его пребывания постоянно спрашивал, “не совершает ли он преступления, принимая иностранцев”. Признаваясь, что не знает английского, на котором велась беседа с Брауном, Кузьмищев тем не менее с уверенностью отмечал: “Судя по тому, что Э. Браун несколько раз переспрашивал Пастернака об одном и том же, мне кажется, что он его плохо понимал (Пастернак по-английски говорит весьма примитивно)”. Браун попросил у Пастернака фотографию с автографом, потом “Пастернак передал ему какое-то стихотворение “из старых”, — как выразился он, — для одного из своих друзей в Париже”.

Через десять дней, 11 февраля 1959 года, стихотворение “Нобелевская премия” появилось в газете в сопровождении тенденциозного политического комментария. Пастернак узнал об этом от корреспондента “Daily Express” Добсона, телеграмма которого была направлена в московскую контору агентства “Reuter” Управлением по охране военных и государственных тайн (Главлит):

“Сегодня Борису Пастернаку исполнилось 69 лет. Я поздравил его с днем рождения на его занесенной снегом даче под Москвой. Однако, я сожалею об этом, так как я огорчил Пастернака, сообщив ему, что в Лондоне опубликована одна из его поэм <стихотворение “Нобелевская премия”>, которую он никогда не собирался публиковать, ибо она могла бы нанести почти такой же сильный вред его отношениям со здешними коллегами, какой нанес ему роман “Доктор Живаго”. С горечью Пастернак сказал мне: “Я отдал стихотворение навестившему меня молодому человеку, чтобы он передал его как личное послание моему другу в Париже. Я не давал разрешения на его публикацию. Да, прекрасный подарок вы преподнесли мне в день рождения”.

<…> Как представляется, он наконец понял, что за стенами простого дома в писательском поселке в Переделкине существует суровый, лишенный наивности мир. Мы сидим, беседуя, у большого черного пианино <рояля>. Луч солнца скользит по рисункам, выполненным его отцом — превосходным иллюстратором. Этими рисунками увешаны стены комнаты, у двери спала собака. Острый запах русской кухни проникал в комнату”.

В тот же день Пастернака посетил известный корреспондент “United Press International” русского происхождения Генри Шапиро. Он описал свою встречу в телеграмме, перевод которой был передан тем же Главлитом в ЦК:

“История с опубликованием без разрешения поэмы омрачила и фактически сорвала празднование 69-летия Пастернака, которое он отмечал с женой и несколькими близкими друзьями. Шокированная и возмущенная жена Пастернака Зинаида Николаевна сказала ему в присутствии корреспондента UPI:

— Сколько раз я говорила тебе — не доверяй журналистам.

Повысив голос, она добавила:

— Они лишь используют тебя в своих личных интересах.

Затем угрожающе заявила: — Если это будет продолжаться, я уйду от тебя.

Пытаясь утешить и успокоить жену, Пастернак сказал:

— Я обещаю тебе, Зиночка, отдаться в будущем полностью работе, и у меня не будет времени для журналистов.

<…> Говоря о том, что он считает приемом, противоречащим журналистской этике, Пастернак сказал:

— Данная поэма — это лишь одна из нескольких поэм, предназначенных для моего друга, и тот факт, что самая мрачная из них была выбрана для опубликования, свидетельствует о том, чем руководствовался этот молодой человек”.

Мы с женой тоже были у отца в этот или следующий день, слова о самопроизвольной публикации “Нобелевской премии”, которую он просил журналиста передать сестрам в Оксфорде, тоже были сказаны отдельно от других у себя в кабинете и причем тихим голосом. К тому же он был недоволен комментарием Брауна и неточной передачей его слов, выбранных из трехчасового интервью.

Посетившему его через полгода Питеру Грею в ответ на вопрос о публикации “Нобелевской премии” он сказал, улыбнувшись, что Браун просто не понял его английского.

Однако запомненное мною некоторое смущение и неуверенность тона, которым нам было сказано об этом как об обыденной вещи для нашего успокоения, теперь позволяют мне увидеть в этом некоторую долю лукавства. Да и упоминание сестер, которым будто бы он хотел послать стихотворение, вместо Жаклин де Пруайяр, которая в результате так ничего и не получила, — толкает к этому выводу. Упорно повторяемые слова о нежелании публиковать “Нобелевскую премию” входят в открытое противоречие с тем, что писал сам Энтони Браун в “Daily Mail”. Он утверждал, что именно для публикации Пастернак передал ему стихотворение, написанное простым карандашом и еле разборчивым почерком. Несколько факсимильно воспроизведенных в газете строк отчетливо передают карандаш, что позволяет сомневаться в том, что автограф предназначался для графини де Пруайяр. Кроме того, Шапиро в своей телеграмме пишет, что Пастернак передал Брауну некоторый стихотворный цикл, в который входила “Нобелевская премия”. Имеется в виду цикл “Январских дополнений”, включавший кроме названного еще три стихотворения: “Зимние праздники”, “Божий мир” и “Единственные дни” — последние из лирических стихотворений, написанных Пастернаком. В качестве комментария автор приписывал на полях широко распространяемых списков стихотворения: “Написано в те страшные дни”, имея в виду свою страстную неделю после присуждения премии.

В статье, сопровождавшей в “Daily Mail” публикацию “Нобелевской премии”, Браун представлял несломленность и веру Пастернака в победу добра как отчаянную борьбу с правительственными чиновниками и Союзом писателей за право свободного выражения религиозных и политических взглядов.

На первой странице газеты под крупным заголовком “Пастернак удивляет” и его портретом воспроизведено факсимиле нескольких строк стихотворения. “Находясь на грани ареста и высылки из страны, Пастернак откровенно сказал, что он полностью сознает, что публикация стихотворения “Нобелевская премия” на Западе — серьезная угроза его безопасности, но дает мне право на публикацию его как своей нравственной позиции. Он признался в надежде, что серьезные действия против него не будут предприняты без личного согласия Хрущева”. Информационные источники считают, что реальный гонитель Пастернака Никита Хрущев не столько защищает его, но по крайней мере сдерживает зависть и нападки советских писателей. Он не хочет полностью отдавать им Пастернака на суд и расправу, делать из него мученика в глазах мировой общественности и вызывать взрыв протеста против России. Он сохранил его безопасность и позволил ему остаться на родине. Браун называет роман “Доктор Живаго” “символом борьбы человека против диктата жестокого тоталитарного порядка. Возмущение и протест, — по словам его интервью со мной, — который двигал им при написании романа, привел в замешательство Советский Союз не критическим отношением к марксистско-коммунистической идеологии, а потому, что он пытался привить в Советском Союзе принципы личной христианской совести”.

В стихотворении вылилось чувство загнанности в ловушку и острая боль по поводу уступки откровенному шантажу, обман которого стал теперь очевиден:

Я пропал, как зверь в загоне.
Всюду воля, люди, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет.

В те же дни конца января были написаны две конечные строфы, относящиеся к январской размолвке с Ивинской и переводящие стихотворение в личный план, но строфы эти отсутствовали в автографе, переданном Брауну. Они сопровождались пометкой автора: “Этого не было раньше”. Вот они:

Все тесней кольцо облавы,
И другому я виной:
Нет руки со мною правой,
Друга сердца нет со мной.

А с такой петлей у горла
Я б хотел еще пока,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука.

Судя по опубликованным в сборнике “А за мною шум погони…” документам из архивов ЦК КПСС, можно говорить о начатой в середине февраля подготовке судебного дела против Пастернака, для которого были затребованы докладные записки Комитета государственной безопасности, подписанные Шелепиным, одну из которых мы цитировали выше. Существенна информация о задержанных КГБ письмах Пастернака, цитаты и содержание которых приводятся в тексте донесений. Они подтверждают также наличие магнитофона, записывавшего разговоры на даче у Ивинской, в частности выражение ее “беспокойства в связи с ожидаемым приездом английской парламентской делегации” во главе с Гарольдом МакМилланом. Она вспоминала, что в начале февраля ее снова вызывал к себе Поликарпов, который сказал о “нежелательности” встречи Пастернака с журналистами и лучше, чтобы на это время Пастернак куда-нибудь уехал. Слова Шелепина о “желании” Пастернака из опасений “особого интереса к нему со стороны английских корреспондентов” уехать в Тбилиси являются откровенной ложью. Вопреки этим словам, Пастернак с возмущением рассказывал нам о новом бесцеремонном обращении с ним, воспринимая это как посягательство на свободу его намерений. Он видел в требовании Поликарпова прямое оскорбление и насилие и не желал этому подчиняться. В его намерения никоим образом не входила поездка в Грузию или куда-нибудь еще, расстраивавшая его размеренную жизнь и наладившуюся к этому времени переписку. Но Зинаида Николаевна, созвонившись с Ниной Табидзе, повезла его в Тбилиси. Вспомним теперь, что подобные мероприятия по “очистке Москвы от нежелательных элементов” на время приездов западных лидеров стали обиходным явлением в 1970-е годы.

Сразу вслед за донесениями Шелепина, выявляющего “связи Пастернака”, на сцене, как бы из-за его спины, появляется Генеральный прокурор Р.А. Руденко. Когда-то участник Нюрнбергского процесса, он так и не научился тому, как с позиций международного права расцениваются репрессивные действия против свободы совести. Собранные в архиве ЦК документы представляют вслед за донесениями Шелепина докладную записку Генерального прокурора “с предложением принятия мер к Б.Л. Пастернаку в связи с публикацией его стихотворения “Нобелевская премия”” от 20 февраля 1959 года. Записка написана по законам 1930-х годов, — главным доказательством предательства Пастернака “по отношению к советскому народу” стало его “осуждение советской общественностью”. Угроза лишения гражданства и высылки за границу вновь приобретала реальность на основании статьи 7 Закона о гражданстве СССР от 19 августа 1938 года. Основанием для рассмотрения этого вопроса Президиумом Верховного Совета должно было служить представление Генерального прокурора, проект указа Президиума Верховного Совета СССР “О лишении советского гражданства и удалении из пределов СССР Пастернака Б.Л.” прилагался тут же.

В Тбилиси Пастернак пробыл две недели, вскоре после своего возвращения он был неожиданно схвачен на улице и насильно привезен на допрос к Руденко. После вопросов о передаче стихотворения Энтони Брауну Пастернак получил строгое предупреждение об привлечении к уголовной ответственности в случае продолжения подобных “преступлений”. “Стенографическая” запись рисует Пастернака запуганным и податливым, что заставляет сомневаться в ее адекватности и противоречит его недавним письмам и поступкам и, в частности, его собственным рассказам об этом разговоре. Вопреки обязательству “исполнить безоговорочно” требование неразглашения тайны допроса, “в соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса”, Пастернак на обратном пути в Переделкино заехал к нам:

— Представляете себе, что я видел сейчас человека без шеи, — начал он свой рассказ и просил нас никому не передавать это, потому что у него потребовали письменного обязательства не встречаться с иностранцами. (Кстати, об этом ни слова нет в стенограмме допроса).

— Но я категорически отказался его дать. Я сказал, что могу подписать только то, что я читал их требование, но никаких обязательств взять на себя не могу. Почему я должен вести себя по-хамски с людьми, которые меня любят, и расшаркиваться перед теми, которые мне хамят.

Он сказал, что обязался хранить тайну об этом вызове, но сразу после нас об этом узнала от него и О. Ивинская. Она записала также его веселое согласие признать себя “двурушником”, а шутливое предложение “поставить у его дверей конвой”, чтобы никого не пускать к нему, реализовывалось в регулярном перехвате писем из-за границы и предупреждениях о нежелательных встречах. На дверях дачи Пастернака в Переделкине появилась записка с извинениями, что он никого не принимает. И действительно, всевозраставшее количество посетителей становилось серьезной помехой нормальной жизни и работе. Записки приходилось заменять новыми, потому что гости часто брали их себе как автографы.

При невозможности воспользоваться деньгами, которые принесла его книга за границей, Пастернак получал со всего света письма с просьбами о помощи, так как его считали богачом. Он писал Жаклин де Пруайяр 31 января 1959 года, что даже не представляет себе общей суммы, которую собрал “из разных источников Фельтринелли и которую он где-то хранит. Я не хочу этого знать, потому что и без этого мое положение в обществе мифически нереально, как положение нераскаявшегося предателя родины, от которого ждут, что он признает свою вину и продаст свою честь, чего я никогда не сделаю. Если я воспользуюсь заграничными деньгами, то стану настоящим предателем”.

Со времени гневных январских писем по поводу задержки денег за сделанные работы и изъятии его переводов из печати прошло три месяца, за которые ничего не изменилось. Никаких ответов на свои обращения он не получил, тогда как взятые у друзей долги надо было отдавать.

“Вы недостаточно знаете, — писал Пастернак 17 апреля 1959 года Жаклин де Пруайяр, — до каких пределов за эту зиму дошла враждебность по отношению ко мне. Вам придется поверить мне на слово, я не имею права и это ниже моего достоинства описывать Вам, какими способами и в какой мере мое призвание, заработок и даже жизнь были и остаются под угрозой”.

Поэтому радостной неожиданностью было известие из Инюрколлегии о возможности получения денег из Норвежского банка. Получение этих денег дало бы ему возможность начать новую работу, замысел которой уже назревал, и отказаться от поисков переводов, которые выискивала тогда для него Ивинская. Как она признается в своей книге, именно она “отговорила <Пастернака> от всяких денежных распоряжений до беседы с Поликарповым”, и это обернулось новым поводом для унижения: “под видом примирения” Пастернака заставляли передать государству гонорары за его “антисоветский” роман.

“Как Вы знаете, — писал Пастернак 1 апреля 1959 года Поликарпову, — до сих пор я никаких денег за издание моего романа за границей не получал и не предпринимал никаких попыток к этому. Сейчас, когда предложение взять гонорар сделано мне в официальном порядке официальным лицом, я полагаю, что, приняв такое предложение, я не совершу чего-либо противоречащего интересам государства. Вы знаете также, что в Советском Союзе мои книги в настоящее время не издаются, а имеющиеся у меня договоры фактически приостановлены действием, и, следовательно, на заработок внутри страны я рассчитывать не могу.

В Инюрколлегии мне сказали также, что я могу получить деньги, которые хранятся для меня в швейцарском банке в английской валюте, и попросили моей доверенности на их получение. Я хотел бы часть этих денег передать литфонду СССР, на нужды престарелых литераторов. Если почему-либо это будет сочтено неудобным или противоречащим государственным интересам — чтобы я получил эти деньги из-за рубежа и часть их передал литфонду — убедительно прошу меня о том уведомить, чтобы предупредить ошибочный шаг с моей стороны, который имел бы дурные последствия”.

В ответ на предложение, полученное из Управления авторских прав, перевести все эти деньги в Государственный банк, Пастернак распорядился отправить их обратно: “Я отказываюсь пользоваться вкладами, имеющимися на мое имя за издание романа “Доктор Живаго” в банках Норвегии и Швейцарии, о которых мне сообщила своим письмом Инюрколлегия”.

“Дело вовсе не в том, — писал он Жаклин де Пруайяр, — что я хотел бы скрыть деньги от их грязного, хитрого вынюхивания! Все мое существо восстает против такой расписки, против этого договора Фауста с Дьяволом о своем будущем, о Божественной благодати, которую невозможно предвидеть, против ужасной системы, захватывающей и подчиняющей живую душу, делая ее своей собственностью, системы еще более ненавистной, чем былая крепостная зависимость крестьян”.

В последних словах слышен отзвук нового замысла Пастернака — пьесы, посвященной крепостному актеру, то есть существованию таланта при крепостном праве. Написав роман и освободившись от пожизненного замысла, он позволил себе вновь отдаться новым художественным намерениям. Он широко делился своими мыслями о пьесе, которую начал писать летом 1959 года. Герой пьесы крепостной — талантливый актер, учившийся в Париже, — постоянно наталкивался на унизительные ограничения своего рабского положения. Пьеса сначала должна была называться “Благовещенье”, развитие действия приурочивалось к последним годам перед освобождением крестьян в России в 1861 году. Потом с расширением замысла и охвата времени пьеса получила название “Слепая красавица”, символизирующее образ России. Чувство колдовского плена, из которого Пастернак не мог освободиться, лишенный возможности путешествовать, встречаться, поддерживать завязавшиеся знакомства и, наконец, пользоваться пришедшим к концу жизни богатством, становилось в это время особенно невыносимым.

Работу над пьесой подгоняла надежда на близкое будущее, которое должно было открыть Пастернаку свободу строить далекие планы и их осуществлять. Но этой надежде, как и окончанию пьесы, не дано было сбыться. Пастернак скончался 30 мая 1960 года.

В течение последующих тридцати лет оставался в силе запрет на издание “Доктора Живаго”, а судьба его автора замалчивалась и искажалась. Только в 1988 году журнал “Новый мир” решился исправить совершенную в свое время роковую ошибку и последовательно в четырех номерах опубликовал полный текст романа. Подписка на журнал в связи с заблаговременным анонсом превысила миллион экземпляров.

Долгожданное признание позволило Нобелевскому комитету приурочить к столетию Пастернака, отмечаемому Юнеско во всем мире, свое решение считать его отказ от премии осенью 1958 года вынужденным и недействительным. Летом 1988 года был выписан диплом Нобелевской премии Бориса Пастернака и послан в Москву его наследникам через его младшего друга, поэта Андрея Вознесенского, приезжавшего в это время в Стокгольм с выступлением на вечере, устроенном в его честь.

Медаль лауреата решено было вручить членам его семьи на торжественном приеме, устраивавшемся Шведской Академией и Нобелевским комитетом для лауреатов 1989 года. На открытии большой выставки, посвященной столетию Бориса Пастернака, в Музее изобразительных искусств директор музея Ирина Александровна Антонова познакомила нас с послом Швеции в Москве господином Бернером, который пригласил нас с женой в Стокгольм на Нобелевские торжества.

Накануне, 9 декабря, на собрании в честь лауреата 1989 года, состоявшемся в здании Шведской академии, постоянный секретарь Академии профессор Сторе Аллен прочел две телеграммы Пастернака, полученные 24 и 29 октября 1958 года, одну с благодарностью, другую с обоснованием отказа, и, сожалея, что лауреата нет в живых, сказал, что считает посмертное вручение медали историческим моментом.

В своем ответном слове я выразил благодарность Шведской Академии и Нобелевскому комитету за их решение и сказал, что принимаю почетную часть награды с глубоким чувством трагической радости. Нобелевская премия, как знак признания его заслуг, должна была освободить Бориса Пастернака от положения одинокого и гонимого в своей стране поэта, но стала причиной новых страданий, окрасивших горечью последние полтора года его жизни. То, что он был вынужден отказаться от премии и подписать предложенные ему обращения в правительство, было открытым насилием над его совестью, тяжесть которого он ощущал до конца своих дней. Он был бессребреником, довольствовался малым, и главным для него была честь избрания в лауреаты Нобелевской премии, а не денежная награда, и он верил в восстановление справедливости, которой теперь он посмертно удостоен. Хочется верить, что те благодетельные изменения в нашей стране, которые сделали возможным это событие, действительно приведут человечество к свободному и производительному существованию, на которое так надеялся мой отец и для которого он работал.

На следующий день, 10 декабря, происходили торжественные церемонии вручения премий 1989 года. Среди пиршества глаза и слуха щемящей, за душу хватающей нотой было появление на площадке широкой лестницы в зале ратуши, где происходил банкет, Мстислава Ростроповича. Свое выступление он начал словами: “Ваши величества, достопочтенные нобелевские лауреаты, дамы и господа! На этом великолепном празднике мне хочется напомнить вам о великом русском поэте Борисе Пастернаке, которого при жизни лишили права получить присужденную ему награду и воспользоваться счастьем и честью быть лауреатом Нобелевской премии. Позвольте мне как его соотечественнику и посланнику русской музыки сыграть вам Сарабанду из сюиты Баха d-moll для виолончели соло”.

Трагическим голосом Гамлетова монолога на пире Клавдия пела виолончель, в бездонной музыке Баха звучала тоскующая боль гефсиманской ноты:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

*1 Подробнее см. об этом в статье А. Блоха “На пути: 1946—1957” (ред.).*